

АЛЕКСЕЙ ВУЛЬФОВ



## СТОРОЖКА

ПОВЕСТЬ

— Да, Тимофей Ильич, завидным будет бытие обходчика, который получит на оной версте сторожку. Вот ему удача: и место высокое, и рощица неподалёку, и родник с водой, согласитесь, совершенно изумительной, а уж чернозёмы тут просто отменные. Воткни палку — что-нибудь да вырастет, как в тропических странах. Можно сказать, рай ему будет здесь земной! Ты не находишь?

Это лёгким и радостным тенорком произнёс молодой инженер-путеец Дмитрий Аполлонович Беловольский своему коллеге — однокласснику и другу инженеру Петрову. При этом он втыкал остроганную ветку молодой берёзки сквозь дёрн в мягкую землю, плотно поросшую травой и яркими цветками. Таким образом он ставил вешки.

Шёл 1900-й год.

Только что, третьего дня наступивший, июнь окружал их прямо-таки восторгом золотого предзакатного солнца, колокольным гудом выпуклого неба, невысказанным изобилием юной листвы и трав вокруг, отливавших пышущим лоском, сиявших словно изнутри себя счастливым накалом. Ровно шумели шмели и дикие пчёлы. Инженеры-путейцы — пригожие, раскрасневшиеся, только что вдоволь напившиеся из родника и умывшиеся действительно превосходной сладко-студёной водой, объятые духовитым ветром раннего лета, его ласкового и кажущегося бесконечным просторного пространства, столь же

---

*ВУЛЬФОВ Алексей Борисович родился в Москве в 1963 году. В 1988 году окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1989—1992 годах работал в Союзе композиторов СССР с Г. В. Свиридовым и Б. А. Чайковским, один из организаторов первого Фестиваля отечественной хоровой музыки. Составитель сборника “Георгий Свиридов в воспоминаниях современников” (“Молодая гвардия”, 2006), автор книг “Теперь лишь вспоминать” и “Повседневная жизнь российских железных дорог”. Живёт в Москве.*

молодого и светлого, сколь и сами — они столь же счастливо отвечали этому дню лучистыми блестящими глазами, широко распахнутыми воротами служебных рубах.

Это был не только стихийный восторг молодости, но и восторг от занятия верно выбранным жизненным делом, причастности к нему и своего законного места в нём. И ещё от ощущения себя заодно с Родиной — горячо, осознанно любимой, от душевного полёта в бесконечном её приволье, полного совпадения с ней.

Утомившись за день в полевом странствии, накануне близящейся ночи расположились инженеры отдохнуть на небольшой поляне около струившегося листовою березняка, пригожего, как хоровод деревенских девушек в козынках и сарафанах. С удовольствием утонули они в зовущие яркие муравы и стеблях, среди голубых и жёлтых цветков-глазочков, в мягких клеверах и травах, бросив рядом с собою фуражки, на которых важно красовались перекрещенные топор и якорь\*.

Всем, что нужно для счастливого пребывания человека на Земле, полон и достаточен день был вокруг. Бабочки, порхавшие возле них, словно оторвавшиеся лепестки неких дивных цветов, то и дело подхватывались ветром и взмывали вверх, к самой прозрачности небесной, несказанно нежные и нарядные. Беловольский, поглядывая на них, сразу вспомнил столь же нежную невесту свою Наталью Гавриловну, которая почти неуловимо напоминала точно такую же бабочку.

Инженеры Петров и Беловольский участвовали в очередном большом народном деле. Согласно высочайше утверждённого самим государем Положения, велено было тянуть через эту исконную среднерусскую губернию железную дорогу от саратовских степей в Лифляндию, к далёкому порту на Балтийском море. Шустрые агенты и подрядчики уже всюю сманивали мужиков по окрестным сёлам, и отбоя не было от охочих устроиться на чугунку — выбирали самых крепких и могучих. После пуска дороги многим фартило основаться на ней и далее служить постоянно.

По народу — по сёлам и деревням, по праздникам и сходам, по ярмаркам и трактирам, по папертям и площадям — всюю волновалась весть, широким ветром разносился слух: тянут дорогу, ведут — от Волги до самого западного моря. Уже прошли инженеры и, постояв на берегах рек, охвативши их вдохновенно горящим, как у музыканта, взором, перекинули глазами будущие мостовые переходы, которые, возможно, поразят мир своим совершенством. А вслед единой чертою уже целыми вёрстами вгрызаются заступы, тяпают лопаты, дымят синим дымом из-под котлов кашеварные костры, поросятами визжат вагонетки и тачки, неумолчно, как тамбурины, колотят копры — и выводят им в такт трудовой напев мужицкие глотки, сливаясь в согласно ревущее от натуги артельное благозвучье. И брызжет пот со лбов, как дождь, вздуваются жилы на скользких шейх, мокреют под рубахами на груди кресты, буграми каменеют мускулы и плечи, как у былинных богатырей. Задиристо наставлены бороды, красным налиты глаза; лапти в глине чавкают, поясами схвачены животы на рубахах. Славны будьте, дороги строители! Руками огромными, кажется, способны они охватить и, словно путейскими клещами, приподнять хоть весь шар земной. Строят — и, стало быть, построят, приведут к гудку. Уже рельсы, говорят, завезли с уральских заводов, и просмоленные шпалы всюду лежат штабелями, и малые паровозики-“кукушки” эти шпалы по новому пути развозят. Трудовое варёво кишит на всём протяжении дороги, а быть ей, как толкуют, длиною в полторы тысячи вёрст.

Русский хлеб должен пойти по ней за море, а вырученное золото густо посыпаться в казну и по купецким карманам. Но не ради одной коммерции строили дорогу, понимали: в случае чего и солдат по ней можно быстро перебросить к землям европейского соседа, к таким рубежам, за которыми вечно прячется беда в тревожном ненастье и туманах.

Беловольский — человек небольшой ростом, но телом стройный и лег-

---

\* Старинная эмблема ведомства путей сообщения.

кий, с чудесной гладкой бородёнкой и развевающимися каштановыми волосами — расположил на коленке планшет и аккуратно, словно на уроке по чистописанию в гимназии, вывел карандашом немного выше каких-то мудрёных топографических символов: “Сторожевой домъ 286-й версты”.

Петров — широкий лицом и плечами, большой, с бородой пошире, рыжеватый, похожий скорее на лавочного купца, чем на инженера, внимательно поглядел на приятеля в ответ на его слова о завидном бытии будущего обходчика. Петров был человек негромкий, молчаливый, знакомые барышни полагали его чересчур уединённым. Однажды, говорят, стрелялся Петров по поводу какого-то горячего личного убеждения, чудом сам не погиб и не застрелил обидчика — Бог отвёл. Глаза у него ровно-серые и всегда с некоторой загадкой в себе — доброй ли, нет ли — трудно сразу определить. Иногда Беловольскому казалось, что вообще-то верный и надёжный его приятель Петров, с которым вместе по будущим дорогам сперва на институтской практике, а потом и по службе протопали они пешком не одну сотню вёрст, знает о жизни гораздо больше, чем можно было бы предположить по первому взгляду на его простую внешность — да только вот всё молчит, с мыслями своими не знакомит, пряча их в себе с такой же улыбкой-усмешкой, с такой же умной лукавиной и при этом полузримою, тщательной сокрытою, но явственной грустью, с какой взглянул он сейчас на Беловольского:

— Да уж, Дмитрий Аполлоныч. Зави-и-идным...

\* \* \*

У поворота однопутной линии железной дороги возле самой насыпи стоит казённый кирпичный домик. Издали с локомотива видна его крыша на широком лугу между линией и рощей. По приближении рассматривается ограда палисадника, в глубине двора — два маленьких сарая и чуть в стороне колодец под синей крышей, а рядом расположен большой огород. Возле домика торчат из земли понурые столбики давно заглохшего переезда, и сразу же за ним начинается пологий спуск линии вместе со склоном пространного холма к почти незаметному мостику через речку. А оттуда берёт линия круто вверх, словно устремляясь в небо, к огромным полям, распахнутым взгляду без края. В немыслимом пространстве их она теряется, как в небытии, разве что робкий штришок деревьев лесозащиты едва напоминает о ней.

А в противоположную сторону от домика линия плавной кривой уходит в берёзовую рощу — летом яркую, густую, вздыхающую листвою — и незаметно пропадает в ней. Ближе к колее по другую сторону пути тянутся сплошные заросли орешника и такие тесные кусты, сквозь которые и зимой ничего не видно. Эти заросли хозяйка домика тётя Аня называет “клевщик” и летом никому не велит туда ходить.

При паровозах возле домика был переезд. Остались от него, кроме доныне полосатых столбиков, торчащий ржавый палец бывшего шлагбаума, с тоскою указующий на небо, и зачем-то до сих пор натянутый трос к нему. Изрядно сросшаяся с землёй грунтовая дорога едва угадывается под этим тросом. Ведёт она в село Никифоровка, которое от переезда километрах в трёх, тянется неподалёку от пути по верху долгого холма. Зимой, если знать о том, что там есть село и сильно вглядеться, можно увидеть с поезда отдельные высокие тополя и под ними белые крыши. В Никифоровке давно уже почти никто не живёт, обе фермы пустоглазы, колхоз развалился сам собой в последние времена — помимо обыденных причин всеобщего разорения хозяйств, попросту из-за постепенного исчезновения трудоспособного народа: старые люди умерли, а прочие разехались кто куда либо спились с круга. Осталось несколько бабушек, покуда хранящих своим присутствием остатки коренной почвенности, и ещё частник-тракторист Александр с семьёй живут, у него жена и две дочери — вот и всё. А вообще-то в Никифоровке домов пятьдесят, сплошь старинных, из тёмного кирпича, вытянутых в длину вдоль улицы, глубоко вросших в землю, каждый в три окошка с выложенными “хохолками” по верхушкам, с белыми каймами на цветных дверях, с узор-

чатыми верандами, и садовые деревья во дворах до сих пор цветут и плодоносят.

А в другую сторону от переезда дорога из Никифоровки шла к Московскому тракту, всё пространными холмами и полями — глухими, безмолвными, неоглядными и суровыми, как океанские волны, и такими бесконечными, что когда едешь этими полями, кажется, будто весь мир земной из них одних только и состоит...

Домик этот железнодорожный — путевая будка, “сторожевой дом”, или, говоря на ведомственном языке, ЛПЗ (линейное путевое здание). Построено оно было ещё при царе. Типичная для стиля этой дороги сторожка обходчика 286-й версты, под кровлей до сих пор проглядывается крашенная жестяная дощечка со старомодным начертанием цифр: 286. Кирпич мощный, как у крепостной стены, в три ряда, едва различим под ста слоями казённых штукатурок. Домик совсем без архитектурных излишеств, простецкий, разве что окна и карнизы подчёркнуты по-особенному выложенной кладкой-каймай, словно бровями, да под скатом крыши в вечной тени скрываются два фигурных изгиба чугунных контрфорсов. Внутри чуть ли не в полдома квадратная печь, махонькая кухня и две комнаты всего — а ведь до революции проживала в этом домике в иные времена большая семья, доходило до девяти человек. При советской власти (но ещё паровозы ходили) молодой путевой обходчик Андрей Павлович Грачёв, теперешний житель сторожки, только что женившись на рабочей пути Ане Волошиной, получил в подарок на свадьбу от своего околотка чайный сервиз и полплатформы серого кирпича. Из него он сложил сзади сторожки пристройку и соединил её со старым домом через сквозной проход. Дверь на проходе всегда открыта, его занавесили кружевным покрывалом из Аниного приданого, покрывало это и сейчас висит там. Вышел Андрей Павлович из исконно железнодорожной семьи путевых сторожей Грачёвых, обосновавшихся здесь от начала регулярного движения. Прадед Грачёв строил эту дорогу; родом он был откуда-то изпод Липецка, сын обедневшего купца, который, как отец рассказывал Андрею, был человек культурный, кроткий, невзыскательный — в него и весь род пошёл: с улыбкою и в мире жили Грачёвы. Дети все — братья, ни одной сестры. У Андрея Павловича мама давно умерла, когда он ещё совсем маленький был, сразу после войны от болезни, а братьев осталось трое. Один выучился на машиниста и переехал в город Елец, где есть большое депо, у него там квартира своя, другой служит офицером ПВО на Урале. С ним редко переписываются, почти совсем не видясь. Только Андрей Грачёв так и остался здесь, в родном доме, при линии, и стал, как отец, путевым обходчиком. Отца в сорок первом году призвали в армию, но он сражений почти не видел; только закончил артиллерийскую учёбу, как вышел приказ отзывать железнодорожников с фронта, и он вернулся. По линии один за другим шли маршруты с углём на тульские оборонные заводы, и работы на пути было очень много. В хрущёвские времена внезапно путевых обходчиков отменили, путь решено было содержать “способом механизации работ с приложением коммунистического отношения к труду”, и Андрей стал называться не обходчиком, а монтером пути. Но труд его от этого почти не изменился: в любую погоду надевай фуражку и гимнастёрку, обувайся в сапоги, подпоясывайся ремнём с форменной пряжкой, опускай на плечо длинный гаечный ключ и молоток, в сумку клади петарды, факел-свечи, кусок хлеба и сала, за ремень засовывай флажок — жёлтый и красный, и ступай осматривать свой участок. Ни одного стыка и костыля глазами не пропустит, а на исходе смены сойтись в условленном месте — мостике с соседним монтером Митькой, чтобы обменяться с ним новостями, каковых свежих никогда почти не было; всё в разговоре склонялось, как водится, к критике времён и начальства. Днём, услышав гудок, встать ровно (в любую жару чтобы на голове была фуражка!), вытащить из-за ремня свёрнутый жёлтый флажок и поднять его навстречу шипящему приближающемуся паровозу, который незлобиво, но-приятельски рывкнет над головой, а ночью, если была надобность в обходе, держать на вытянутой руке в сторону поезда едко чадящую керосиновую копилку со слабым огоньком в прозрачном стекле: путь свободен.

Идёт Андрей Грачёв по шпалам, стучит сапогами, навстречу ему тянутся дикое полотно дороги, безмолвный дикий мир да одинокие думы, вольный перегон... Проходит свои три версты туда-обратно. Огромные тёмные поля виднеются-плывут за посадками, открытые глаза без края, птицы стаями кружат, в вечное катятся облака. Иногда, встретившись с Митькой, задержатся и выпьют самогону, даже песни попоют — но это нечасто. Когда отменили профессию обходчика, ходить по перегону стали не каждый день, разве что вёснами, в паводок, когда вода с полей сходит — тут надо в оба глядеть, чтобы размывов полотна не было, чтобы не заправило “русла водотоков”, также и после частых гроз; зимой, в сильные морозы, смотреть, не случилось ли трещин в рельсах, а если большая жара летом — не выросло ли разогревом путь, — много за чем надо уследить, чтобы беды не случилось. Ну, гайку кое-где подтянуть, по высунувшемуся костылю пару раз молотком вдарить... Теперь в пути применяют бетонные шпалы, а не деревянные, никаких костылей в нём нет, и лежит он не на песке, а на гравии, ремонтируют его машинами, ездит для проверок специальный вагон-дефектоскоп — так что можно каждый день в обход не ходить, незачем. В начале семидесятых, когда стали закрывать бурогольные шахты, движение по линии спало; в результате дошло до того, что в иные дни теперь всего лишь два поезда в сутки пройдут в обе стороны, да и те пассажирские. Сколько-нибудь регулярно, в неделю пару-тройку раз, и то в чётном направлении шли длинные гремячие составы полувагонов со щебнем с карьера, по прозвищу “дальние вертушки”, этим только грузом дорога последнее время и жила. А хлеб давно идти перестал — его уже больше не из России, а наоборот — в Россию возили, да только какими-то другими путями, ближе к столицам. Затихла дорога; присвоили ей звание “малодеятельная”, и так вот здесь, в сердце самой плодородной и трудящейся части страны, полутрестранённой, случайной линией лежала она в полях, тянула понурюю телефонку, постепенно срастаясь с кустарниками и травами-лопухами, ничем не вспугивая с рельсов гапок и соколов. А раньше, дед рассказывал, когда хлеб шёл, над станциями птиц гуляли тучи, и соколы хватили мышей прямо со шпал. В урожайный сезон в элеваторах места не хватало, и иной раз в ожидании погрузки у пути воздвигались серо-золотистые пирамиды зёрна выше двухэтажных вокзалов царских, их художественно отделанных кирпичных “гребешков”. По бескрайнему полювому жнивью вокруг станции, бывало, стоят пыльные столбы, все дороги дымят, тянутся подвода за подводой, возницы гикают, под гору погоняют вскачь, вольготно развалиясь на мешках — поторапливаться надо: денга в карманы потекла! А поезда-то как шли — один за другим, один за другим, с седьми от пепла и песка паровозами и кондукторской прислутой на тормозных площадках, роняющей в тяжёлой дремоте головы, словно грудные младенцы, из-за непрерывной бессонницы. Андрей с Аней хорошо помнят, как ночью плыли тусклыми созвездиями красные фонари на хвостах товарняков...

Нужно ещё было дежурить у шлагбаума, пока работал переезд. Проедет-то по настилу за день всего несколько телег, иногда переберётся трактор или комбайн. Только в уборочную шли рядом автомашины-“трехтонки” с зерном, кумачи ещё, бывало, натянуты вдоль бортов: “Принимай, Родина, хлеб нового урожая!”... Иной раз налезет в кузов целая дюжина человек — колхозники или, быть может, колхозницы в ситцах и косынках, едут-хохочут, гармонь переливчато голосит! Весело едут, да и было кому — народу-то в деревне ещё жило полно. А так-то внерельсового транспорта проходило мало, но по старой традиции чугунки переезд всё равно держали: для безопасности — место пересечения пути. Работа вроде нехитрая, подумаешь — шлагбаум поднять-опустить, покрутив лебедку, да поезду сигнал показать. Днём на переезде всегда была Аня. А вот на ночь сменщик имелся в наличии всего один — приходил с Никифоровки через двое суток понурый мужик, да и тот потом в Новомосковск по найму переехал. Пока жив был отец — он иногда на ночь менял, а так нередко молодому супругу Андрею Грачёву после дневного обхода приходилось ещё и ночью дежурить на переезде, пока Аня спала. Поезда при паровозах шли довольно часто, особенно не подремлешь,

только и ждёшь сквозь грёзы — сейчас заворкует голубком под кровлей старый зуммер с промышленной эмблемой ещё царской, на которой надпись они много раз с Аней пытались разобрать, да так и не смогли, буквы временем поистерлись, — значит, отправление поезда станция, ждите, скоро пройдёт. Паровоз в нечётном направлении перед спуском катится мимо их дома тихо, с закрытым паром, легко позванивая механизмом, а вот в чётном, когда идёт снизу от речки, оказывается напротив них как раз на вершине покорённого подъёма разгорячённый, и тут труба у него, как говорили тогда, с небом разговаривает, грохот стоит, бывало, до мелкого зуда в стёклах, — а если идут иной раз с гружёным маршрутом парюю, двойной тягой, товарные “эховские” или “элки” — тогда вовсе артиллерийская пальба. Как чёрные чудовища ночью, пробредут с шумящими гривами дыма над котлами, пылающими поддувалами, обильно продышат, проклокочут, фонарями разок глянут в комнату, словно живым оком, озарят в ней темноту, создадут плывущие тени по комоду и обоям, а в ответ на качание фонаря ещё и рывкнут во всё горло. Земля подожит, у дома фундамент прочувствуется под полом, как корень у дерева, качнётся абажур. А вслед товарные вагоны ещё долго лязгают и гремят. Вот и попробуй, поспи в своё удовольствие! Андрей иной раз с Аней, когда дожди сильные идут и дорога размокнет так, что кобыле не пройти, переезд на ночь прекроют, и тогда оба в супружеской постели отдыхают, только горящий фонарь с сигналом “путь свободен” выставят на веранде, чтобы с паровоза его издали видно было. Вот он там всю ночь коптит и мурлычет как кот, пока супруги спят. А зимой, случается, так заметёт, что дороги в Никифоровку словно вовсе нет, одна ровная снеговая целина со стынущими былинками, и тогда порой целыми неделями ждут из совхоза трактор, чтобы дорогу расчистил — и пока не придёт он, Никифоровка пребывает словно и на том, и на этом свете, как будто в небытии.

А потом, когда пропало движение, охрану переезда отменили — уже при тепловозах, в семьдесят шестом году. Краску перестали давать для столбиков и шлагбаума — велели просто поднять его, закрутить проволокой и так оставить. А вскоре после всех экспериментов с сельским хозяйством и возить через переезд стало нечего.

Летом Аня между поездами и выходами на путь бегает в рощицу за грибами, или косит, или в огороде копается, или стирает, или варит суп. Андрей на обходе, отец Бог знает из каких материалов строит во дворе сарай для коровы. Издали с пути слышно, как его молоток тюкает. Ожидали прибавления семейства, корову завели, кур, да вот беда — Аня, видать, натаскалась шпал и тяжёлого инструмента, пока работала в ПЧ, наколотилась молотком, и так и не уродилось у них с Андреем детей — к каким врачам ни ездили, в трёх городах были и в Москве — еле выбрались оттуда, чуть рассудком не тронулись, такая суета их там охватила после привычной тиши. Пристройку, которую Андрей соорудил из подаренного кирпича, осталась не заселена никем, по сей день в ней света всего одна лампочка да старый деревянный вокзальный диван с буквами “МПС”, привезённый откуда-то отцом на дрезине, когда Андрей ещё ходил в школу. В Никифоровке при колхозе была тогда одноэтажная деревянная школа-семилетка, построенная ещё до революции здешней помещицей, с роскошным яблочным садом, который ослепительно цвёл весной. При царе преподавали в той школе два учителя, окончившие гимназию. В старину, говорят, было сто пятьдесят учеников, да и в первые советские времена не меньше. Существовали маленькие приходские классы и при Никифоровской церкви пророка Божьего Илии, от которой в тридцатые годы почти не оставили следа: невысокую колоколенку завалили и всю до основания разрушили, столетние деревья попилили “в целях расширения площадей”, а внутри храма, выломав одну стену со стороны алтаря и полностью всю утварь разграбив, устроили “Сельхозтехнику”, от которой нынче осталась одна лысина двора и мятые тракторные кузова вповалку. Кирпич с останков церкви и ограды, насколько смогли, поразгрызли ломами и вывезли, поэтому всё, что осталось тут достопримечательного — это уцелевшие столбы въездных ворот и летом среди развалин какое-то неслыханное, невиданное скопление грозной бессмысленной крапивы ростом

с человека. А отец Андрея Грачёва ещё помнил, как батюшка прямо у стен этой ограды разводил пчёл на церковном дворе, и говорил, что был этот батюшка подвижный и румяный, с мягкой белой бородой, как у гнома, и ко всякому человеку обращался с шуткой и ласковым словом. И нет-нет, его пчёлы кого-нибудь да кусали, когда кучно собирался народ ко Всенощной, однако никто на батюшку за это не обижался.

Между прочим, при царе здесь, на их переезде, была остановочная платформа Никифоровка (кое-где до сих пор видны втоптаные грани деревянного настила), но её уже в те далёкие времена закрыли. Начальник службы пути генерал Доризо поехал зимой после метелей по линии с объездом в салон-вагоне, прицепленном с хвоста к почтовому, и увидел: поезд встал в Никифоровке — и ни один человек не входит, ни один не выходит, кругом сплошная белая слепота — ни неба, ни земли, ни следочка на снегу, одна по окнам заметённая сторожка и едва выглядывающий из сугробов штaketник. Баба в чёрной шинели и валенках, обвязанная платком, стоит у шлагбаума, как вкопанная, испуганно держит флажок и неотрывно тычется на генерала, который монументально, словно скульптурный бюст, воздвигается между занавесками в окне тяжёлого лакированного пульмана, пахнущего вкусной кухней. Слабодушный паровоз “Аннушка” свистнул снегирем, рванул, сбёрнул с места, потянул тычками, затренькали стяжки и буфера... Сторожку и бабу завалило тягучим серым дымом, и долго не мог разобрать генерал, испарения ли это паровоза или уже пейзаж снежный поплыл. В ту пору был у г-на Доризо сильнейший насморк, нос его изрядно накалился и распух, малейшее холодное дуновение через щель в окне или вагонную дверь свербило его и терзало. Троекратно чихнув в сырой платок, как будто выстрелив из трёхствольного ружья, генерал ткнул пальцем в направлении уплывавшей платформы Никифоровка и плаксиво произнёс: “Транжирство”. После чего, выпучив глаза, с таким сердцем высморкался, что чуть нос себе не оторвал... К утру готов был набело приказ начальника дороги, исполненный прямо-таки литературного вдохновения, в котором, в частности, значилось, что “дальнейшее существование платформы Никифоровка по отсутствию должного числа приезжающих на оную и отъезжающих с оной платформы пассажиров нужно признать неразумным и невыгодным... Задержку поезда в пути, пускай и краткую, но совершаемую безо всякой на то причины, и лишнюю упряжную игру можно расценить лишь как незаслуженное для пассажиров неудобство... Напрасны паровозу беспельные троганья с места...” — и так далее. Управляющий дорогою граф Эншельдт, преуспевающий молодой красавец со щедро ухоженными шёлковыми усами и масляным взором, в мундире изумрудного цвета, роскошном до бутафорства, прочтя, тонко улыбнулся своему умилённому помощнику и вежливо произнёс: “Меньше стоим — скорее поспеем”. И, очаровательно рассмеявшись, подписал сей циркуляр молниеносно. А ведь невдомёк ему, что летом множество мужиков и баб сходило с поезда и залезало в Никифоровке в свой четвёртый класс, когда шли работы на полях и в садах, а теперь по шести, а то и по восьми вёрст нужно было им шагать от ближайшего разъезда до деревень и полевых станков. Земство возмущённо отозвалось на прекращение остановок поездов в Никифоровке парюю шумных собраний, напоминавших яркие драматические спектакли, но на том весь протест и закончился. Да она вообще, эта дорога, изначально была летняя, сезонная: когда хлеб идёт — она всю хлопочет, а в прочее время года везде на ней дрёма и сон...

С тех пор остановка у домика 286-й версты была только “по заявке мастера ПЧ” или так, по воле машиниста — но это уже нарушение. В старые годы известен был тут один мужик, проживавший в Никифоровке. Его знали и пассажиры, и поездная прислуга, и паровозные бригады. Неизбежно при каждом следовании своём из города, в одной и той же деревенской рубахе навывпуск без пояса, в штанах в горошек и в лаптях, с длинными соломёнными волосами, патлатый, как колдун, подходил он к лосящемуся горячим пóтом, учащённо дышащему, густо парящему, щёлкающему от трудового устремления паровозу, поливающему вокруг себя маслянистыми кипятками, задирали голову на окошко будки, отводил назад руки и, поводя кро-

вавым конским глазом, на весь перрон одновременно как бы и рыдал, и лаял: “Господин машинист! Уважь *трудового народа!* Останови в Никифоровке!” Когда пришла советская власть, ходил этот мужик уже не в лаптях, а в сапогах, которые, по молве, достались ему с убитого денкинского офицера, однако зывал столь же требовательно: “Товарищ машинист! Уважь *трудовому народу!* Тормозни в Никифоровке, а?” — но результат при всякой исторической формации бывал один и тот же...

\* \* \*

Поздней мартовской сырью тянет с перегона, из-за кривой, уходящей в растревоженную рощу. Рваный ветер кусками налетает, серым дымом бежит низкое небо.

Весь в чёрном издали кажется идущий по пути человек. Спешно идет, за делом. Вблизи оказывается, что в кепке он, сапогах и служебной спецовке. Это Дмитрий Иванович — дядя Митя, соседний монтер, давний семьи Андрея Грачёва приятель. Пять километров протопал — да ему ли привыкать?

Тётя Аня вешает бельё на верёвках, привязанных к яблоням. Низенькая, круглая, полнёнькая, краснолицая, немного суетливая, с острым сморкающимся носом. На домашний халат набросила старую железнодорожную шинель, вышла в резиновых сапожках на босу ногу. На голове деревенский платок.

Наведывается когда дядя Митя, всегда задаёт вопрос о том, что видит: “Ну что, бельё вешаешь?”, “Доски пилишь?”, “На осмотр собрался?” Голос у него глубокий, насыщенный, из самого прокуренного нутра. Раскраснелся, дышит частенько, прикашливает — года сказываются. Раньше-то двенадцать километров пробежать по перегону с тяжёлым ключом и молотком на плече — он и не замечал по молодым летам.

Идёт дядя Митя, кричит издали, подходя к палисаднику: “Ну что, не проехали ещё?”

— Как проехали-то, Мить? Как они проехали-то? По небу пролетели, словно гуси-лебеди? Как они мимо тебя могли проехать? Ты тоже, Мить, прямо не могу! — сердится тетя Аня и поэтому кричит голосом солистки народного хора, которая главный причёт выводит.

— Да, — спокойно соглашается дядя Митя с резонансом в голосе и в ответ степенно кивает. После этого подходит ближе к тётке Ане, закуривает дымно и вдохновенно, а затем долго смотрит вдаль, молча, бесконечно, словно зная, но не разглашая таинственную сущность мироздания. На морось внимания не обращает, даже не утирает лица — привык к непогоде за службу. Тётя Аня мельтешит локтями, привстаёт на цыпочки, подпрыгивает, с пыхтением и оглядкой перебрасывает через верёвки перестиранные тряпки, которые тут же вздуваются и хлопают на ветру.

— Пошли в дом, нечего тут сыреть. Поедут — услышим. Пошли, пошли! — наконец-то распоряжается тётя Аня и со злым кряхтением подхватывает опустевший таз.

— Да ладно, я и тут побуду, — говорит дядя Митя. Это он всегда так скажет, прежде чем сразу же и войти.

Ждут вести.

Вместе с ветром уносится дым из худенькой печной трубы и улетает неведомо куда. День наполнен слезящимся серебром.

Каждый раз дядя Митя, когда заходит, с сочувствием задумывается: “Какой всё же дом у них маленький”. Он-то живёт не в такой будке, а занимает половину солидной жилой кирпичной казармы из четырёх комнат, до революции принадлежавшей артельному старосте и его семье, её в старину так и называли — “артельное здание с телеграфом”. С ним живут молодожёны, детей ждут. Жёна от дяди Мити не так давно, по его словам, “ушла к землемеру” — кто этот землемер, откуда, что? — тётя Аня как ни пыталась выведать, сколько раз и самогону ему подливала, и всякие наводящие слова говорила, и гладила по локтю — избегает ответа. У дяди Мити тоже



и сад, и огород обширный есть, и колодец, и куры, и сарай для скота, со- оружѣнный ещё при царе, когда строили дорогу — сложен из тѣсаных изве- стковых плит. Старики рассказывали, что когда дорогу сдавали в строй, при казармах и жилых домах все службы заранее построены были, и колодцы вырыты во дворах, и штaketники сколочены, и даже нужники. Дмитрий Иванович тоже потомственный путеец, родился и вырос здесь, при линии. Батѣйка был путевым обходчиком, а мама работала в колхозе учѣтчицей — может быть, у неё перенял Дмитрий Иванович неумолимую рассудительность и логику мыслительного расчѣта.

А тѣтя Аня с Андреем живут действительно душно и тесно — крохотные комнаты, потолок довольно низкий, лампочка всегда над самой макушкой, на комнату по одному высокому окошку с перекладинами. У них всегда к то- му же и накурено — Андрей смолит папиросы. Стены в обеих комнатах у тѣти Ани завешаны стародавними пѣстрыми коврами и покрывалами, из-за чего жилище имеет несколько цыганский вид. Уж зачем ей тут эти ковры в таком числе — неизвестно. Посреди дома большая белѣная печь, и от неё тесно буквально всему. Топят её из комнаты, в которой стоит шкаф с чаш- ками, блюдами, рюмками и семейными фотографиями, а ещё тѣти Анина железная дружинная кровать с непременной пирамидой из трёх подушек под кружевным покрывальцем. Готовит тѣтя Аня на веранде на электроплитке, у неё там кухонька маленькая, а столовые приборы лежат в бывшем служеб- ном шкафу станционного кассира, дубовом, со специальными выдвигаемыми ящичками и полочками для билетных картонок. Шкаф этот времен царя-ба- тюшки, надписи на нём с твѣрдymi знаками и ятями гравированы на медных табличках: “Для нечѣтныхъ безъ пересадокъ”, “Для чѣтнаго направления”, “Для квитанцій”. Пара оконных рам, вставленных на веранде, сняты со стар- инного списанного вагона III класса... Андрей живѣт не во второй комнате, а в пристройке, им же сооружѣнной в ожидании появления детей. Там у не- го только койка с деревенским лоскутным одеялом и измятой подушкой, тум- бочка, стул, приобретѣнный в подарок им с Аней отцом на годовщину свадь- бы, и вдоль стены тот самый деревянный диван с буквами “МПС”, который Андрей ни в какую не желает выкидывать, несмотря на горячие протесты тѣ- ти Ани. Андрей последнее время всё больше лежит: сильно доконала его аст- ма. Он и раньше ею болел, но в работе не особенно сказывалось, только по- рою дышал трудно и говорил иногда, немного задыхаясь, но с возрастом она у него развилась. Всё время ест какие-то таблетки с мятным вкусом и по- прежнему, когда хоть немножко поотпускает болезнь, много курит — возле кровати на стуле у него всегда стоит надколотое блюдо с окурками. Часто глубоко дышит он с сильным хрипом и кашляет. В дом выходит только чаю попить и обедать. На пути бывает редко, только в плохую погоду или перед объездами начальства, и очень задыхается, если выходит, часто останавлива- ется и отдыхает подолгу, держась за километровый или пикетный столб — хотя совсем с работы не уволился, собирается оформлять инвалидность, да всё никак не может лечь в больницу — организовать это теперь стало хло- потно. До вызова “скорой” пока не доходило, но может. Часто на путь за него выходит тѣтя Аня, особенно если идти нужно далеко — она не хуже уп- равляется с молотком и длинными гаечными ключами. Вы на ладони её посмотрите — широкие, крепкие и хваткие, как у мастеровитого мужика, хотя всё равно по-женски мягкие.

А во второй, более просторной и светлой комнате старого дома живет девчонка Наташка — дочка тѣти Аниной племянницы. У Наташки в комна- те стол есть, устеленный мягкой скатертью, на котором всегда разбросаны рисовальная бумага и цветные карандаши, имеются пара стульев с выгнуты- ми спинками, софа и сервант, в нём стоит обеденная посуда и лежат Наташ- кины учебники и тетрадки. Наташку Аня с Андреем забрали к себе, когда отец и мать девочки, совсем спившиеся, однажды залили горящую конфор- ку и вместе с Наташкой чуть сообща не отравились газом. Соседи вышли на запах, выломали дверь, спасли. Сообщил об этом тѣти Анин двоюродный брат Сергей Желтков, машинист дизель-поезда — ехал по маршруту, возле их сторожки приостановил, спрыгнул на минутку и рассказал. На обратном

пути забрал он тётю Аню в условленный час, и поехала она с ним в город. Приезжает — в квартире горой бутылки пустые, воняет мочой, сырым тряпьем и ещё жжёным чем-то, кроватей нет — матрацы и покрывала одни на полу валяются. Батяка неизвестно где, а мать Наташкина, вся как пареная репа, сидит в ночной сорочке за столом и водку допивает, головой трясёт, на вид старуха — в свои-то тридцать пять лет, — а об колено её трётся Наташка, как домашний котёнок. Тётя Аня ласково говорит: “Люда, я Наташку к себе заберу ненадолго, пусть у нас погостит, воздухом подышит, тем более сейчас лето”, — это она исподволь, чтобы мадам не заартачилась. А та: “Да забирай ты её хоть насовсем. Она мне не нужна, кормить её. Забирай”. Тётя Аня Наташкино свидетельство о рождении и какую смогла одежду разыскала и прихватила, и саму Наташку забрала. Так она у них в будке и поселилась. Повела её тётя Аня первый раз в баню отмывать — у них баня сразу за домом устроена, в глубине двора, рядом с угольным сараем (они печь углём топят, который называется “газовый”, им его на дрезине привозят из ПЧ), правда, без парной, они с Андреем не любители париться — просто небольшая мыленка с печкой и лавками. Раздела — и белугой разревелись: у Наташки одна кожа да кости, чуть ли не рахит, а четверть спины и ножка левая в страшной синеве, Наташка сказала — отец “шарахнул”. А всё равно — смешливая и огневая девчушка Наташка, с вострым носом и светленькой косой-метёлкой, весельчуха реактивная. Особенно заметно это, когда две серебряные серёжки тёти Анины себе вденет в уши и от этого становится похожей на бойкую маленькую тётеньку. Вон играет всё со своим Бобкой — прибилудилась к ним собачонка из Никифоровки, оставил её кто-то, тётя Аня утверждает — породистая, “потому что кудрявая”. Наташка у них тут уже и в школу пошла, в Киреевское — это на московской трассе, шесть километров, если напрямую через поле. Устроили по давнему добродушному знакомству с завучем Антониной Павловной, которая дяди Митиной маме двоюродная сестра. Наташка доходит три с половиной километра до трассы по Никифоровской дороге, и там её по утрам школьный автобус подбирает, а когда уроки заканчиваются, туда же и привозит. Сперва тётя Аня её провожала и встречала, а теперь, когда Наташка в пятом классе, девчонка ходит самостоятельно. Они её с Андреем хотят удочерить, да только очень уж хлопотно это занятие — надо ехать в город, в район, справить всякие собирать, устраивать суд, иначе не лишит племянницу родительских прав, а из такой глуши разве наездишься? Как скажет тётя Аня — “неужели!”

И ведь удивительно — раз приехал за Наташкой отец. Наверное, год с лишним она у них тут жила, в четвёртый класс уже ходила, — вдруг по ранней осени останавливает Сергей дизель возле сторожки, глядят — слезает папочка по служебной лесенке, и вроде одет прилично, куртка кожаная, хоть и потёртая, джинсы. Поздоровался вежливо так, и вроде не пьяный, только изо рта немного вчерашним пахнет, “с вином завязал”, говорит, лицом симпатичный, прямо как киноартист, высокий, тёмненький, стройный, кудрявый, разве что на скуле чуть проглядывает заживший синяк и лицо красноватое, немного заветренное. Они когда с Людой познакомились, он всё на гитаре играл, про умные книги разговаривал, про фильмы, про политику, негромко, задумчиво так и словно для одного себя, да сперва-то и читал всё время, работал при заводе не в цехе, а в клубе электриком-звуковиком, но вино уже тогда шло. “Я, говорит, приехал за Наташей”. И в глаза смотрит так жалостно, как киноартист, но уверенно. Тётя Аня чуть в обморок не упала; вот те на: явился, петел ясный! Выручил дядя Митя, в ту пору у них, по счастью, гостивший. Степенно и резонно шепнул он тётю Ане на ухо: предложи, говорит, ему самогона. Тётя Аня сперва возразила: “Повадится”. А дядя Митя шепчет ещё резонней и настырней: “Не повадится. Он сюда сам дороги никогда не найдёт, а Серёжке скажи, чтобы больше его не привозил, вот и всё. Самогону налей ему прямо сейчас, скажи — со встречей. Если откажется выпивать — пускай откажется, настаивать не будем. Иди, собирай на стол”. Андрей ни во что не вмешивался, только глядел испуганно, кашлял, дышал. Всё по-дядимитиному вышло. Папаня, заглянув в налитую стопку, глубоко и тяжело вздохнул, прошептал — “ну ладно”, чокнулся, выпил

одну, потом ещё и ещё, сперва про какие-то книги говорил и ещё про что-то отвлечённое им доказывал, с чем они и не спорили, но только не о дочке; где работает — толком объяснить не мог, про Люду сказал кратко — “употребляет”, почти ничего не ел — а это первая примета... Потом совсем говорить перестал, лишь головой качал, а после, едва выбравшись по нужде во двор, повалился у штaketника в траву и уснул. Тётя Аня и поднимать не стала, покрывало ему под спину подоткнула — днём покуда было тепло. Дождалась обратного дизеля (он вечером проходит), строго Сергею высказала, крикливо, сгоряча — тоже пару чарок выпила, — зачем он его, лиходея, привёз, как будто не знает! Сергей оправдывался: да вроде он трезвый был, когда на вокзале подошёл, отец всё-таки, говорил — за дочкой, билет показал. Слово за слово, быстро втащили они папаныкино тело втроём в вагон, к крайнему удивлению наблюдавших пассажиров, и тем проблема оказалась исчерпанной. Говорят, недавно отравился Наташкин отец палёной водкой — кто его знает... Наташка как увидела отца — сбегала тут же прочь и через сутки только вернулась к умиравшей от волнения тётке Ане, сказала, что ночевала в школе в каморке сторожа. “Если, говорит, отдадите меня им — записку напишу и под поезд брошусь”. Во какая!

...Зайдя в дом, отказался было, как обычно, дядя Митя от чая, и скоро, как обычно, уже сладко пил его вприкуску и заедая сухим пряником. Порой приносит с собой бутылку самогона — в праздники или на именины. Взрослые тогда садятся за стол в Наташкиной комнате и выпивают. Тётя Аня после третьей рюмки начинает песни петь и частушки, с надрывом, с голосением, на один высокий тон, под самый потолок у неё музыкальный накал высоты. Дядя Митя с Андреем вытерпят куплет-другой и тактично попросят: “Ну всё, Ань, будет, будет”. После тётя Аня ещё пару раз вдруг заблажит, но тут уж и Бобка залает, и Наташка со смехом закричит: “Бабуль, ну хватит! Бабуля! Хватит тебе! Ну бабуль!” Она тётю Аню зовёт “бабулей”, а Андрея так и называет — “Андрей”, хотя много раз строго указывала ей тётя Аня, что так обращаться ко взрослым нельзя. Дядя Митя под конец празднования обычно приходит в кондицию, но сознательно собирается домой и даже на двор выходит самостоятельно. Простецкая его физиономия тогда преисполняется выражением одновременно таинственного размышления, нажитой жизненной мудрости и глубокого чувства собственного достоинства. Уговоры остаться ночевать — бессмысленны: “Где тут у вас можно себя разместить?” Сурово потребует он его не провожать “никоим образом” и двинется прочь, создавая руками и ногами какую-то неправомерную геометрию — но ведь никогда не упадёт, только задирижирует или затанцует. Вслед ему тётя Аня шепчет: “Ну как вот он дойдёт?! Как вот он дойдёт четыре версты, психуй теперь за него!! Ведь всегда вот так изведёт, гимнаст х.ров! Неужели!” Дядя Митя уходит в ночь, как смутный призрак... час проходит, два — тётя Аня с Андреем хоть и тоже под хмельком, но не спят, “психуют”, ругают Митьку на пару почём зря. Наконец по служебной связи вызов: “Дошёл...” Слава тебе, Господи. Иной раз бывал такой вызов только под утро, а то и в начале дня... Тётя Аня свой самогон не гонит — ей приносят из Никифоровки тракторист Александр с женой за то, что старогонные шпалы она позволяет им забирать на строительство гаража и кое-какую смазку, и разрешает за питьевой водой через свой участок ходить. Вода-то у них тут изумительная — родник, мягкая-мягкая и вкусная, почти на самом участке. Для деревенских железнодорожников по сей день люди в большом почёте. Андрей, пока работал до болезни в ПЧ, нет-нет и соларки ему при-таскивал, сливал с путевых машин ведёрко-другое. Так ему Александр и огород вспашет, и сено вывезет, и капусту, и картошку доставит к трассе на реализацию, и продукты привезёт из Киреевского в базарный день. Александр с женой только трактором своим и живы, он у них в округе знаменитый — кому вспашут, кому привезут, кому яму выкопают, да и своё взрастят — тоже вывозить надо. Александр совсем не пьёт, даже квас, у него с этим строго, знает: если развяжется — на месяц пропал. Супруга при нём бдительна, как пограничник на контрольной полосе! Ни в гости ни к кому не ходят, ни праздники не отмечают, один чай пьют и домашние компоты. Он такой

товарищ серьёзный — не Сашей представляется, а Александром, рослый, солидный, хозяйственный, с громадными ладонями, говорит вразяжку, затор-моженно, журналы выписывает, детективы покупает в посёлке, кроссворды, с Андреем всем прочитанным делится, когда заходит, и Андрей подолгу слушает его, потому что ему скучно лежать целые дни без занятия. Подъедет на тракторе Александр, навестит — поболтают. Они с женой Анастасией ещё и кур, и индоуток держат, и поросят, свежий окорок у них тетя Аня берёт подешевле и птицу (они с Андреем сами не могут рубить, очень уж тяжело переживают это событие). Дочери у них на будних днях в интернате, с ними не живут, родители это объясняют тем, что до школы от Никифоровки сильно далеко. Между прочим, Андреем с тетей Аней их огород на полосе отчуждения — хороший доход, потому что железка платила последнее время хотя и без задержек, но на руки выходило всё меньше и меньше — линия малодеятельная, кому они нужны. У них тут возле сторожки сразу за садом картофельные и капустные грядки большущие, считай, целое поле вдоль перегона. В семидесятых годах им выделил НОД\*, Иван Артемьевич, порядочный человек был, из прежних. Поехал как-то с ним с объездом бывший начальник дистанции, естал при НОДе власть показывать, отчитывать: “Что-то многовато вы тут сеете. По норме столько не положено”. А Иван Артемьевич сразу всё это прервал, ещё и отругал его: “Тебе что — жалко, что ли? Пускай питаются. У тебя при таком подходе последние кадры разбегутся”. Жив ли он — неизвестно, если жив — дай Бог ему здоровья. Как скажет дядя Митя: “Такого человечества, как Иван Артемьевич, уж не родится никогда”. Им огород подспорье большое: тележку капусты или картошки на трассе “чёрным” продадут — прибавок немалый, только вот “чёрные” совсем обнаглели и берут задёшево, но они тут хозяева полные в районе, и иного пути продать свои произведения у крестьянства нет. Если увидят, что продаёшь стороной подорожке — товар уничтожат, вместе с телегой закопают, бывало и такое, а хозяину — вай, вай! — совсем худо будет. Так-то путейцы истари косили в полосе отчуждения и огороды растили на железнодорожной земле, это была завидная их привилегия. Вот тётя Аня всё вверх мягким местом в своём поле-огороде, еле видно её за голубыми капустными ушами. Иногда Андрей ей помогает, когда ему полегче. Наташка любит собирать колорадского жука, он яркий, и ей нравится его на листах отлавливать. И ещё она обожает в летнюю жару поливать огород из листового резинового шланга. Картошку соберут, сдадут, мешков десять себе оставят и стащат в погреб. Однажды по телевизору показывали передачу про большущую змею, не настоящую, а для какого-то фильма сделанную, и такую страшную, что Наташка даже зажмурилась. А тётя Аня палец наставила и кричит: “Вот! Вот! Мне бы такого змея в погреб — он у меня всю мышь поел бы!” Когда-то им продовольствие два раза в неделю с орсовским вагоном-лавкой завозили, минутная служебная стоянка здесь по графику полагалась, а теперь какое там... Ни вагона, ни лавки, ни ОРСа. Раньше и будку их приезжали красить маляры из дистанции, и уголь по норме завозили, и спецодежду, и инвентарь, и сигналы. А последнее время кроме угля ничего — только жилеты недавно прислали оранжевые и велели их надевать, когда проезжает начальство, чтобы видели, что они в жилетах. А про дорогу всё время один и тот же разговор наверху — закроем. Раньше был военный начальник в управлении такой, что про закрытие и думать не позволял: дорога на запад идёт, в ту сторону рельсы всегда могут правительству понадобиться. Нужно её в живом резерве хранить, какую-никакую службу поддерживать, пускай помаленьку тлеет. На станциях паровозные колонки стояли, “водяники” даже красили их, и вода в этих колонках была под давлением, круглый день шумело в колодах. В старом депо угрюмым рядком стояли заколоченные досками холодные паровозы, которые все называли “военный запас”, новую бетонную телеграфку протянули вдоль их орешника взамен старой, висевшей на косых просмоленных столбах, персонала служил положенный штат, телефоны, бывало, по конторам без омовку трезвонят. Сойди на станции с поезда и оглядись: нарядными твердынями стоят полосатые тупиковые брусья и ярко окрашенные стены служебных сооружений, напольрованные рельсы строго

устремлены к выходным семафорам, которые, как дальние маяки, светят рядом с внимательной готовностью: всё ожидает пути. И догляд был, начальственная опека. Поедет, бывало, с отделения ревизор Кирьянов: а ну, откройте сарай, покажите, как у вас то, как это, как вы инструмент храните, сколько инвентаря, сколько запасных фонарей, петард, в каком состоянии держите путь? Жила помаленьку дорога своей простецкой, но укладной жизнью. Однако в последние времена тот служака, военный начальник, быстро исчез на пенсию, а новым людям наверху теперь что? Ничего. Они ведь ни о чём не думают. Чего от них хорошего ждать можно, — да никто от них давно уже ничего и не ждёт...

\* \* \*

И чаю попили, и поговорили о том, о сём, и Наташку встретили из школы. Вбежала, скинула курточку, бросила у себя в комнате портфель, встала перед взрослыми руки в боки и, шмыгая юрким носом, громко и кокетливо рассказала стишок, за который получила четвёрку, потому что разок “запнулась”, и теперь у неё из-за этого в четверти тоже выйдет четверка, а так была бы пятёрка. Потом прыгнула на кровать играть с Бобкой, который немедленно вскочил туда же, но тётя Аня строго окликнула её не “доча”, как обычно, а “Наталья!”, что требовало беспрекословного повиновения, и усадила есть щи. Пряно и сытно запахло из тарелки варёным лавровым листом, разваренной капустой и морковью. Наташка рассеянно ест ложка за ложкой, ногами сильно качает под табуреткой и ухитряется одновременно какую-то песню петь. Взрослые молчат, прислушиваются к улице — ждут какой-то вести.

— Сказали — сегодня проедут, — третий раз произнёс одно и то же дядя Митя.

— Сказали — значит, проедут, — подтвердил Андрей, закуривая сидя, поднявшись с постели.

— Проедут — услышим! Чего прислушиваться? Услышим — выйдем! — тётя Аня сегодня настроена неодобрительно.

— С линии шум мы всегда разберём, — подтвердил дядя Митя, важно подняв брови. Он, как всегда, со всеми согласен.

— Неужели!

Наташка бросила ложку: “Бабуль! Бабу-ля-а-а! Я больше не хочу”, — и побежала с Бобкой к себе в комнату. Тётя Аня выбросила остаток щей в Бобкину миску. Дядя Митя, пока Аня купала тарелку в нагретой воде и громче обычного колотила ею об таз, а потом звучно хрустела совком, подбрасывая уголь в печку, начал было разъяснять Андрею, почему такой беспорядок творится в стране, поведа с известной легенды о том, что “боле всех виноват подонок Горбач, с него всё и началось”, но затеял свой анализ издали — со времён, когда разразился Карибский кризис, и сообщил, что в том событии Хрущёв виноват, что умный молодец Сталин после войны страну укрепил и карточки отменил, а Хрущёв весь земной шарик чуть сдуру не уколошил (“вначале-то был Сталин, а потом пришёл Хрущёв”, — это дядя Митя объяснил для большей исторической точности) — и так он всё это истолковывал размеренно и весомо, словно политический обозреватель — но тут наконец с улицы, со стороны рощи донеслось некое раздражённое жужжание, а вслед ему разборчиво прозвучал сигнал, похожий на гудок автомобиля.

— Ага! Вот и едут, — сказал дядя Митя, поднимаясь.

— Пошли, пошли. Сейчас будет тебе “ага”, — наставительно сказала тётя Аня, шустро влезла в сапоги, надела прямо на халат пальто, прилежно повязала на мягкой своей седине платок, а поверх пальто набросила и застегнула ненормально яркий и чистый путевский жилет. Андрей, сняв на веранде с крючка старую шинель, пространно расположил её поверх рубахи на плечах и вышел вслед на улицу прямо в тапках, глядя тревожно. Он даль-

---

\* Начальник отделения дороги.

ше крыльца идти не собирался. На улице, когда встал он во весь рост, было заметно, какой он рослый, большой, широкий и почти не седой — черноволосый.

Быстро вышли наружу, в мокрый воздух, темнеющую пасмурь. Зябко на ветру после горячей печки в доме. Андрей сразу шинель запахнул и застегнулся на все пуговицы, всматриваясь и хрипло дыша.

Сильно и лохмато дымит сизым выхлопом служебная автомотриса\*, вся крыша её в копоти. Тускло светят маленькие круглые фонари, похожие на внимательные глаза. Медленно подползает к дому, сумрачен гул машины. Обдав духом теплой дизельной гари, совсем медленно, едва-едва приблизилась она к дому и незаметно встала. Двери со вздохом выдвинулись наружу и открылись, и по ступенькам быстро сошёл ревизор Кирьянов. Как всегда, он был в лихо заломленной фуражке, форменном синем плаще, начищенных ботинках, с коричневой папкой под мышкой. Высокий, прямой, белобрысый, рябоватый, продолговатое лицо с виду совсем невзрачно, однако с лица этого внимательно устремлены глаза-зрачки опытного хозяйского петуха. Как всегда, идёт быстро, глядит мимо, часто носом дёргает и сморкается в платок. Пару раз с хрустом провалился ботинком сквозь гранулы талого снега и выругался. Вслед прыгнул машинист автомотрисы с большим пустым бидоном в руке и, не спрашивая у хозяев разрешения, пошёл по узкой тропке через участок на родник за водой. Дядя Митя с тётей Аней встали чуть ли не навьютяжку.

— Так, всё, закрывают нас, — не поздоровавшись, на ходу бросил Кирьянов, сморкаясь и не глядя ни на кого, идя к крыльцу.

— Ай!.. — вскрикнула и взмахнула руками тётя Аня и тут же крепко зажала рот ладонью.

— Не плещи! не плещи! Чего плещешь-то?! А то не знала! — неожиданно громко и сердито крикнул на неё с крыльца Андрей.

— Всё равно... Неужели?.. — ответила тетя Аня девичьим голосом.

— Да, всё, закрывают. Они и говорили, что закроют, — как всегда степенно и резонно, но с чуть различимым дрожанием голоса произнёс дядя Митя.

Ревизор расположил папку на перилах, открыл её, нервно поперебирал в ней какие-то бумаги и, наконец, отыскал и вытащил три нужных скреплённых листа, разделил их и прижал пальцем к папке. От ревизора сильно пахло дорогим одеколоном, перчатками и свежей тканью плаща.

— Так, вот здесь все распишитесь в уведомлении. В связи с закрытием участка подлежащие сокращению, — это ревизор сказал назидательным тоном учителя, разъясняющего урок. — Коли уж ты здесь, распишись сразу и ты, чтобы нам не вставать там у твоей хижины, — это он дяде Мите.

Все взяли каждый по своему листу и начали рассеянно читать, шевеля губами. Текст с упоминанием статьи Трудового кодекса был непонятен и никак не хотел усваиваться. Слово “уведомление”, выведенное крупным шрифтом посреди листа, и синяя печать управления дороги с надписью “Служба управления персоналом” глядели в глаза, как наставленные прицелы. Да что от них, от этих печатей, хорошего ждать-то можно.

— Ну что вы там читаете... Нечего там читать, всё понятно там. Время только держите, — ревизор отвернулся и глубоко, сильно закурил. Всё же человек ведь он, ревизор-то.

Все начали по очереди класть свой лист на перила и, испуганно прошептав “где?.. где?.. вот тут?..”, стали по очереди старательно расписываться возле заранее кем-то поставленной карандашной галочки.

— А как они теперь полувагоны вывозить будут? Дальнюю вертушку? — спросил дядя Митя.

— Как они будут вывозить? Как они будут их вывозить?! — наращивая отрицательное чувство, стал почти кричать ревизор, начав в упор глядеть на дядю Митю петушиными зрачками. — Нечего тут спрашивать! Они их вывезут через узел. Тебе какая разница — как?!

---

\* Автомотриса — самоходный служебный вагон для проезда людей.

— Да, — резонно и важно согласился дядя Митя, словно поддерживая всё это начинание. — Они их вывезут через узел, западным ходом.

— Вот и нечего спрашивать, коли всё понимаешь, — ревизор опять заговорил, бегая взглядом по сторонам, мимо глаз людей. Тайно он жалел дорогу, только не смел о том и капли вида подать, чтобы не докатилось до начальства.

— Ну и что теперь? — спросил Андрей Грачёв почти ласково, возвращая листок.

— Вот всегда вам: что, что да как? Ничего. Рельсы проедут — вывезут, вот и что. Любопытство вас разбирает! — это ревизор произнёс ёрнически, с полуулыбкой-укоризной. И ведь всегда он так: прибудет с объездом — ни здрасте, ни до свиданья, и ни одного замечания спокойно не сделает, всё с какой-нибудь подковыркой, чтобы обязательно хоть чем-то обиду нанести, пальцем душу потрогать. Начинает тихо-тихо, едва слышно, а потом расходится, и только попробуй ему сказать что-нибудь поперёк! Такое начнётся назидание — не остановишь.

— Значит так. С первого поезда не встречайте — движение закрывается. За деньгами приезжайте в отделение пятнадцатого числа. Приедете в другой день — вообще денег не получите. Кошки себе возьмите, что вы мне их сунули, — ревизор, не оборачиваясь, протянул через плечо кошки, засовывая остальные бумаги в папку.

— А точно пятнадцатого дадут? — осторожно спросил дядя Митя.

— Не верите — можете не приезжать, — как-то даже радостно, но со злым внушением в голосе сказал ревизор. — Хотите — не приезжайте, это уже ваше соображение. Мне все равно. Деньги не нужны — не приезжайте, мне что?

— Да это я просто к тому, что дорога-то не ближний свет, — примирительно сказал дядя Митя.

— Просто. Всё у вас просто, — сказал тем же тоном Кирьянов.

— Вот так... всю жизнь тут отработали... — нараспев начала было слово сама с собой тетя Аня, укоризненно качая головой.

— Ладно! Ладно! Всё! — опять окрикнул её Андрей.

— Картошку будете растить. Станете сельскими хозяевами, — почти пошутил ревизор, что являлось у него редкостным изъятием ласки, и наконец оглядел присутствующих, снова закурив и навалившись спиной на столбец крыльца.

Набежал порыв ветра и вместе со стукотом сырости бросил на людей целый ворох фиолетового дыма с автоматрисы, от которого все немного покашливали.

— Как же так... рельсов тут не будет... Неужели? — продолжая качать головой, жалобно проговорила тетя Аня, глядя на путь.

— Насыпь без пути что челюсть без зубов, — пошутил дядя Митя.

— Как-как? Когда-то при царе Горохе не было здесь дороги, и опять не будет! Что ж такого! История движется по этой... по спирали! — авторитетно разъяснил ревизор с едва различимой иронией в голосе.

— Николай Василич, а вы теперь куда? — спросил дядя Митя.

— Меня Клименков забирает в кадры, — строго ответил ревизор, обозначив себя словно какую-то потустороннюю вещь. — А дальше посмотрим, — резко подвёл он черту, мощно сдул с сигареты пепел, зашвырнул окуроч, высморкался и оттолкнулся от столбца, как пароход от пристани, собираясь идти.

— Сначала-то говорили — законсервируем, сторожами оставим. А теперь совсем линию закрывают. Всё правильно: рельсы продадут — плотно в карманы насыют, — сказал дядя Митя, и таким тоном — дескать, молодцы. Ревизор почему-то не стал на него за это ругаться и вполне доверительно ответил:

— Да уж понятно, что плотно. Хватит на тульский пряник. Ладно, будьте здоровы, — и пошёл к лесенке автоматрисы, которая продолжала напряжённо урчать и дымить, сонно глядя своими тусклыми глазами, словно большая рыба. Машинист, подняв над собой наполненный бидон, крикнул помощнику: “Валера, прими!”

— Из дому-то не выгонят? — крикнул вдогонку Андрей с крыльца, ёжась в своих тапках.

— Нет, не выгонят. И свет, сказали, не отключат. Вас теперь колхозу отдадут. То есть местному сельсовету, — ревизор вполоборота ответил на ходу.

— Меня высадите возле моей казармы? — спросил дядя Митя. На это ревизор опять разозлился, став обычным Кирьяновым:

— Ты дома побыть не мог! Ты сюда пришёл! Тебе неймётся, да? Ты и тут, и там — везде тебе надо!

— Ну тогда ладно, я сам дойду, — смущённо ответил дядя Митя, отступая от автомотрисы. Кирьянов резко взбежал по лесенке и уже из тамбура крикнул, не оборачиваясь: “Давай залазь!” Дядя Митя, сделав испуганное лицо, засуетился, ища поручни, и торопливо задрал ногу, влезая, пару раз по колено провалившись другой ногой в сырой снег. “Пока!” — крикнул он на выдохе в сторону Ани, которая успела за это время зайти в веранду, пахнущую окороком, мёрзлыми яблоками, холодными корзинами и покрывалами, схватила там свёрнутый флажок в футляре, поправила на себе нелепо обвисший жилет, вышла ближе к пути и, как положено, подняла над головой сигнал “путь свободен”. “Помаша, помаша на прощанье”, — сказал ей Андрей, который опять начал дышать с прогорклым хрипом. Автомотриса звучно прогудела и двинулась, быстро набирая ход. Из тамбура важно помалхал ладонью дядя Митя, неподвижный, как истукан или член правительства на мавзолее. А тётя Аня, держа сигнал, всё глядела на рельсы в безмолвии и долго ещё стояла так, хотя автомотриса уже изрядно удалилась и на спуске легонько топотала на стыках, разогнавшись, далеко отдавая гулом отяжелевшую от сырости и тёмного снега седую местность со слившимися сумерками и облаками. Тётя Аня постояла бы ещё, но тут дверь открылась и выбежал с лаем Бобка, а вслед ему выпрыгнула Наташка: “Ба! Ба! Бабуля-а-а! Где карандаши? Бабуль!”

\* \* \*

Завидуйте, небеса! Завидуй, солнце! Завидуйте, леса и рощи! Завидуйте, речки и горы! Завидуйте, все люди! Завидуйте Наташке и Бобке!

Потому что Наташка и Бобка — самые счастливые существа на свете.

Подумайте сами: что может быть счастливее, чем жить в железнодорожном домике у тёти Ани с дядей Андреем?

У них с Бобкой тут своя комната, в ней стол и карандаши, высокая кровать и подушки. Вы знаете, как на этой кровати прыгать здорово? Она такая пузатая, на ней прыгаешь, и когда обратно шлёпаешься, она тебе ещё немного снизу наподдаёт, и ты как бы ещё немного вверх летишь. Как начнут с Бобкой беситься — до потолка допрыгивают. Наташка с кровати соскочит, Бобка за ней, она от него по всему дому по кругу бегаёт, и всегда всё равно первая обратно на кровать запрыгнет, потому что Бобка с первого раза не может. Он внизу скулит, а Наташка его дразнит, а потом втянет за лапки. Как начнут беситься — все ковры у тёти Ани шевелятся, как живые, абажур качается, пол воеет. Но это пока не натворят что-нибудь. Тётя Аня сразу тут как тут: “Та-а-ак... И что это у нас так тихо?” Наталья давно уже лежит на кровати, сосёт фломастер над бумажным листом, песню какою-то под нос поёт, Бобка у неё в ногах совершенно недвижимо, как пуф, — а у ковра-то одного краешек с крючка оторван и отогнут... “Это как же вы так это, а?” — спросит тётя Аня потрясённым голосом. “Ба, это не мы, это она сама, потому что старая уже”, — поморщившись, ответит Наташка, как о досадной мелочи. “Сама пришьёшь”, — скажет тётя Аня. “Ба, мне некогда, мне надо уроки делать”, — сосредоточенно скажет Наташка, не выпуская фломастер изо рта. “Деловая!” — воскликнет тётя Аня. Но разве она со злостью заругает или будет бить? Да вы что! Первые ночи Наташка часто просыпалась и плакала, когда ей снилась мать и покинутое городское жилище, и даже говорила тёте Ане, которая вела её за руку через поле к школьному автобусу: “Бабуль! Бабуля-а-а! Я если буду плохо вести, ты мне ска-



жи: девочка, если будешь плохо вести — проснёшься у мамки. И я сразу перестану!” Но тётя Аня никогда ей такого не говорит. Всё тяжкое в прошлом, все страхи и тоска. Нет больше ни голодных ночей, ни битья, ни скуки, ни цыпок, ни вечного насморка, ни чумазого лица, ни рванных тетрадей. Тёмному, свинцовому, серому — конец! Один лишь свет, одно сияние и счастье!

На углу домика стоит большущая бочка, из которой тетя Аня черпает лейкой на поливку грядок, и в этой бочке летом всегда поселяется головастик. Наташка подтаскивает табуретку, встаёт на неё и долго-долго его сверху высматривает, и хлеб ему иногда крошит, а он, бывает, не вылезает и не вылезает! Наташка раз палку взяла, перевесилась через край бочки и стала по дну шерудить, да прямо туда в бочку и нырнула — а вынырнуть не может, узко и высоко! Уже золотые круги из глаз пошли, вода ударила через нос. Вдруг кто-то раз Наташку за ступню — и тащит вверх к спасению! Тётя Аня — кто же ещё. Шла с пути и издали увидела, как Наташка погружается, успела добежать. И ведь надо же — за смазкой с перегона вернулась, накладки кое-где на стыках подмазать, а так бы всё. Тут Наташку она как следует отшлепала со страху, но Наташка ей сама сказала, что ты меня, бабуль, верно отшлепала. И ведь на другой день опять полезла, правда, уже осторожнее, только голову над бронзовой водой наклонила, а он — тут как тут: бультыхается, лапками толкает по-лягушачьи — дёрг, дёрг! — на то и головастик. Светло-светло-зелёный такой, как морковка у тёти Ани на грядке, и пучит оранжевым глазом любопытно — смешно-о-ой: умора! Наташка часто его навещает.

А ещё они с Бобкой бегают в Зелёную Рощицу на родник. В “клещовник” раз и навсегда перестали после того, как тётя Аня рассказала Наташке такую историю: “Клещ если на Бобку упадёт — ты сперва об этом не узнаешь. А он на Бобке прогрызёт шёрстку, вопьётся, шланг свой засунет ему вглубь и станет из Бобки кровь сосать. Всю кровь высосет, и делается сам огромный, как картофелина, и до того поганный и противный, что от одного его виду стошнит! Клеща тогда не отдерёшь ничем, хоть канистру бензина на него вылей”. “А Бобка что?” — тихо и торжественно спросила Наташка. “Бобка? Сначала будет скулить, а потом умрёт в страдании”. — “А клещ?” — “А что ему, паразиту? Он крови напился, отвалился да и укатился обратно в орешник, как мяч. Ищи его, свищи! Неужели!” — “Ба, а ты видела, как клещ в людей впивается?” — “Я видела, как от этого хоронили”, — ответила тётя Аня серьёзно. “Ясно”, — сказала Наташка. И больше через линию ни разу в орешник не ходила. Если Бобка рельсы иногда перебежит, она ему как закричит изо всех сил: “Бобка! А ну ко мне! Ко мне!” А вот осенью, когда надо собирать орехи, тётя Аня входит в орешник разрешает, потому что клещи все уже там, говорит, после первых заморозков “помёрли”, но тогда всё равно на себя Наташка целлофановый дождевик надевает с капшоном, а Бобку с собой не берут, хотя он дома скулит изо всех сил и с ними просится.

У Наташки чёлка, густые брови и косички озорные хитро наострены, как и её глаза зелёные. Тётя Аня иной раз от их с Бобкой игр опустится на табурет, положит ладони между колен и приговаривает: “Три километра... ведь три километра прошла — и хоть бы малый утомон... Никаких...” А Наташка от этого ещё больше — прыгнет на кровать: “Ба, смотри, как я пляшу!” И давай так приплясывать, что и кровать под нею затанцует, и Бобка разлазается. Весь урок хореографии покажет. Андрей тут может из своего отделения и замечание сделать: “Хватит. Доконаете”. Андрей всё больше молчит, только иногда она вдруг усядется возле его кровати, и он с ней или в карты поиграет, или как с Бобкой — он дёргает за верёвку с бантиком, а Наташка этот бантик должна поймать. И смотрит Андрей вроде и плоско, и строго, а какая сквозь беззвучные глаза его ласка проглядывает! И какой он большой и могучий — как же жаль, что такой неопрятный и большой! Иногда Наташка обращается к нему с просьбой смастерить ей какую-нибудь игрушку, порой — совершенно невыполнимой, и нужна ей игрушка непременно срочно — но что не может сделать руками русский мастеровитый мужик? Нет такой материи на свете. Однажды весной, когда снегу было мно-

го и по оттепели дружно бурлило огненными ручьями, попросила она сделать ей кораблик с парусом. Попросила — да через пять минут и сама забыла, а на следующий день приходит из школы и видит возле сарая ворох кудрявых опилок, а на столе в комнате стоит целая шхуна с красными парусами! Тётя Аня с веранды кричит: “Ты и корабля-то ни одного в жизни не видел, как же ты соорудил?” А Андрей что — он всё, по традиции своей, молчит, ухмыльнулся только немного. Наташка и расхулиганится с Бобкой — он до последнего терпит. Зато спит Наташка ночью как тихое пёрышко — хоть бы шевельнулась. Бывает, с рисунком своим уснёт — тогда тётя Аня осторожно рисунок из-под щеки вынет, а её саму потихоньку повернёт и укроет. У Наташки на чём рисовать — полно: тётя Аня в своё время натаскала на растопку полную кладовку пачек старых грузовых накладных и разных путейских ведомостей, у которых на обороте ничего нет, их хватило бы хоть целой школой эскизы рисовать. В школу Наташку всегда будят, и здесь обращаются с ней строго, и Натальей назовут, потому что ранним утром Наташке совсем вставать неохота. Зимой она спит не в пижаме, а в лыжном костюме, забьётся под одеяло, свернётся в клубок, как Бобка, и ничем её отсюда не выманишь. Лампа из-под абажура в глаза горит, на стёклах леденится утренний мороз, и звёзд серебряные искры светят, в доме хоть и сильно натоплено, а всё равно под одеялом теплее — неохота вылезать. “Не пойду я куда!!!” — заругается Наталья. “А я тогда скажу Татьяне Александровне”, — спокойно ответит тетя Аня. “Давай, давай, подьём”, — задышит, захрипит Андрей со своей кровати. Наташка, хоть и с большим недовольством, но тут, обмотав себя одеялом, в подготовленные тапки сползёт. Татьяна Александровна — по чтению учительница, очень добрая, Наташка всегда, как увидит, к ней подбежит, обвинит за талию и жмётся ухом, словно к настоящей маме. И та никогда ей замечание не сделает, просто скажет: “Наташа, пойдём в класс”, — и всё. Наташке так нравится, что Татьяна Александровна молоденькая, и причёска у неё такая симпатичная, и помада красивого цвета, и бусы в горошек, и мягкое светлое платье, и такая она сама добрая, мягкая, аккуратная учительница, что Наташка души в ней не чаёт. На уроке прямо рот раскроет и слушает каждое словечко, которое Татьяна Александровна произносит с назиданием и распевом, когда читает. А если мальчишки кто-нибудь зашалат или пакость какую устроят, Наташка вскакивает прямо посреди урока и, не дожидаясь реплик учительницы, пенал в руку и к озорнику. Одного так треснула, что тот заревел и к врачу его повели, у него кровь потекла — бровь рассечена, а Наташка вдруг рот тонко скривила и вслед ему зло, по-бабы: “Попробуй ещё, котик! Я тебе не так шарахну!” (У неё мать, бывало, так скажет: “Котик!”) И тут же, обернувшись, увидела полные испуга и гнева глаза учительницы, которая, схватив её за руки, тихо сказала: “Наташа, ты что... Разве можно? Ты что — злая девочка?” “А чего он!” — крикнула Наташка во весь голос и вдруг громко-громко, очень сильно заплакала и всё никак не унималась, так что пришлось ей из столовой компот нести, чтобы попила и успокоилась — ради такого случая разрешили повара взять лишний стакан. Того мальчишки родитель на следующее утро в школу пришёл: где, говорит, обидчица? Наташка прятаться побежала в туалет, а родителя куда-то в сторонку учительницы повели. Родитель долго их слушал (мужик простой, шофёром работает в администрации), а потом подошёл всё-таки к Наташке и сказал утихающим голосом: “Ты больше так не дерись! А то вместо домика в интернат отдадут. Чуть бровь моему парню пополам не рассекла, думали, зашивать придётся ехать. Боевая какая! Насмотрятся по телеку всякой шелухи от семечек, заразы всякой ползучей, и воюют. А ещё девчонка! Была бы парень — я бы тебе мозги промыл!” Наташка после уроков домой через своё поле бегом бежала и даже на крыльцо ещё не взошла, издали кричит: “Ба! Ба! А что такое интер... интернат?” — “Интернат? А это когда дети живут не с родителями в доме, а с воспитателями. Вот как у Александра Юля с Олей живут, когда их отправляют после выходных и каникул”. — “Ясно... Ба, я больше мальчишек бить не буду”. — “Неужели! Зачем их бить — с ними надо дружить. А про интернат ты откуда слышана?” — “В школе сказали, что если бу-

ду мальчишек бить, меня вместо нашего домика отправят туда”. — “Обязательно. Поедет дядя Сергей, и мы с ним отправим тебя”. — “Не отправите”. — “Ещё как отправим. Нам тут хулиганки не нужны”. Наташка хоть и знает, что не отправят, а всё равно — вдруг отправят. Мальчишке тому принесла из дому половину пряника, который дядя Сергей на праздник седьмого ноября в коробке привёз, и тайно в раздевалке отдала, и пеналом больше никогда не дралась. Да только вот мальчишка-то хоть и раненый, однако совсем на неё не обиделся за пенал, наоборот — стал ей внимание оказывать (а их за одну парту после того случая усадили). Такая Наташка девочка боевая и блестящая, такая глазами пострельщица да чёлкой и косичкой махальщица, такие чёткие у неё брови, как у белки, что ребята вокруг только вьются — ох, и вьются, — но пусть попробуют что-нибудь не то: пеналом она, допустим, больше не дерётся, а вот кулаком по затылку так может треснуть или по попе такого пендала дать, что долго не забудется. Ты ещё её попробуй догони: они на переменах носятся на улице по двору среди рядов старых школьных лип с такими восторженными визгами, и никто за Наташкой никогда не угонится. А гоняются многие: тётя Аня, бывает, глядит на неё, мягко положив подбородок на ладонь, и причитает с восторженной тревогой: “Ох, подрастёт — задаст жару... Ох, боюсь, одни мальчишки будут на уме...”. Пока Наташке нравится только Саша Воронов из шестого класса — за то, что он не громкий, спокойный и большой, и всегда причёсан ровно, и солидно одет, пиджачок непременно глаженный и застёгнут аккуратно, а на щеках и на ушах у него такой смешной пушок. А в своем классе мальчишки все до одного, как она считает, дураки, недостойная внимания мелочь или, как говорят старшеклассницы — шнено! Наташка всех их презирает. В пятом классе матеряется при девочках! Одно слово — деревенские. Некоторые всегда голодные: папки-мамки, бабки-дедки пьют, бедуют, как проклятые, и покормить иной раз забудут, а то и нечем, вот и хватают их дети в столовой хлеб, одной школой живут. И рожицы у них у всех грубые, словно у невылупившихся мужичков. Хорошо ещё, что маленькие: а то старшие в их школе совсем оторви и брось, все с ремнями да на мопедах, с орущими всякую дрянь дешевыми магнитолами, курят сплошь, мат-перемат, и даже есть уже алкоголики.

В школу Наташка ходить нравится, хотя подруг там особенно близких она не имеет. У неё пять по рисованию и по физре. Учитель по физкультуре Расул Касымович тётю Аню приглашал: “У вашей девочки, мамаша, хорошие способности к лёгкой атлетике, я могу рекомендовать её в секцию”, — рекомендовать-то, конечно, можно, да только кто и как её водить будет? По рисованию Наташка на районном конкурсе заняла третье место: на фоне рельсов и шпал, нарисованных видом сверху, подпрыгивает довольная курчавая собака с розовым языком среди больших-больших ромашек, в углу отдельным прямоугольником подрисован огород с улыбочатой капуста, картина называется “Летняя радость” (акварель).

Ещё бы не радость! Неужели! Они с Бобкой бегают в Зелёную Рожицу на родник. Приносят оттуда трёхлитровый бидон чистой до синевы воды, из которой потом чай вечером получается такой вкусный! Наташка любит со взрослыми чай пить, изо всех сил на блюде дуть, ногой качать и помалкивать. Под абажуром свет добрый, как в старину, на столе в пластмассовой вазе лежат карамельки и отдельным рядком какие-нибудь чинные сухарики. Красная клеёнка с белыми квадратами, на ней пускают пар красивые изогнутые чашки с блюдцами, на которых нарисованы незабудки, этот сервиз Ане с Андреем друзья-путейцы подарили на свадьбу. Зимой тётя Аня чайник приносит не с плитки, а с печной конфорки, и от этого чай кажется почему-то ещё вкуснее. Негромко бормочет телевизор с устаревшими тусклыми цветами экрана, который и смотрят, и не смотрят одновременно. Он еле-еле кажет, у них тут приём так себе. Однажды по телевизору какой-то пожилой актёр с зелёным бантом на шее громко и взволнованно читал некий обличительный монолог: “И хоть маслите вы головы и речь свою и в лучшее рядитесь, всё же вы есть волки хищные и лисицы плотоядные, и народу своему сатрапы и погубители, а отечеству измена и беда!”, на что Андрей сквозь

хрипоту и тяготу в груди подал голос: “Во! Про наших правителей рассказал!” Тут Наташка, которая ещё в третий класс тогда ходила, серьёзно сделала ему замечание: “Не надо! Не ругай нашего президента!” То-то Андрей с тётей Аней хохотали. А вообще Наташка обожает смотреть танцы и фигурное катание, а тётя Аня любовные сериалы, и уж как она сопереживает “героям” — не описать. Наташка ей, когда тётя Аня что-нибудь не поймёт, всегда разъясняет, что к чему: “Понимаешь, бабуль, когда он ей жениться обещал, он ведь не знал, что у неё богатая тётка есть, ну, которая графиня, и что от неё имеется наследие... Он за так, бесплатно хотел на ней жениться, вот она ему и верит”. — “Не зна-а-аю... Ни шерсти, ни вида — что он в ней такого нашёл?” — “Да, бабулечка? Это тебе, может быть, нет шерсти, а ему, может быть, есть шерсть”, — в таком духе. Настенные часы в углу потрескивают механизмом, как сверчок, а зимой, когда мороз, за окном звенят ещё и сугробы, и даль снеговая, и громадная бесконечная ночь под звёздами, которая вся тут же, совсем близко, прямо за дверью сторожки, за окнами. Как Наташке нравится засыпать в тепле! Особенно когда ярко светит полумесяц и её кровать через высокое окно ласково освещает. И как в доме теплой печью пахнет, как в нём сухо, душно и ветхо, но необычайно покойно. Тётя Аня учит вовремя печку закрывать, а то они однажды в бане угорели, Наташка потеряла сознание в предбаннике, и тётя Аня через двор её несла по морозу минус пятнадцать в одной комбинации, а в доме и сама повалилась, Андрей поднимал. Оказывается, угли потемнеть потемнели, но до конца не догорели, сорт другой попался, не “газовый”, и тётя Аня поторопилась печку закрыть, а баня у них низкая и тесная, хотя парилки в ней нет, просто печка, полка, мочалки, два пластмассовых таза и две бочки с водой, которую накачивают ручной помпой из колодца (колодец был вырыт ещё до проложения насыпи и рельсов). Наташка колодца боится: он у них хоть и совсем на вид неглубокий, через два с половиной метра уже стоит вода, но всё-таки на нее глядеть сверху жутко — какая она зовущая и тёмная, и какие звуки в колодце все обманчивые и странные, словно живые голоса, как будто там водятся какие-то заправдашние кикиморы. И всегда вода в нем волнуется, вздыхает, вздрагивает, как живая. В школе читали с Татьяной Александровной сказку про то, как мальчик не побоялся собаку из колодца вытащить — Наташка зажмурилась, представила себе Бобку и их колодец, подняла руку и сказала, что того взрослого, который собаку кинул в колодец, она бы под поезд положила шеей на рельсину, на что Татьяна Александровна сразу ей сделала замечание, что так нехорошо говорить (но весь класс, правда, закричал: правильно! правильно сказала Наташа!). И какой чудесный этот мальчик, который собаку в рассказе вытащил! У них в школе ни одного такого нет. Если только Саша Воронов смог бы полезть в колодец, но этого Наташка точно утверждать не может — уж больно страшное дело, не всякий одолеет его, даже такой мальчик, как Саша.

А осенью! Осенью тоже замечательно и даже прекрасно. Наташке нравится в солнечный октябрьский день поздние грибы искать в золотой траве, спотыкаясь сапожками о звончатые корневища, а когда стемнеет, из дому выбегать на крыльцо, курточку набросив, нарочно позябнуть-позябнуть, а как совсем замёрзнет — быстренько раз, и в дом: то-то уют! В приоткрытой дверце печи нарядно сияют свежим тёмно-красным накалом крупные угли, и Наташке очень нравится их яркий колер на фоне таинственного синефиолетового свечения шлака. В погожие заморозки над домиком в блаженной черноте стоят такие столпы звёзд, такие воздвигнуты ясные гирлянды! — в другое время года этого не увидишь. Наташка уже и зазябнет, и застынет, а всё никак глаз оторвать не может и тонет глазами в этом чудесном небе, смотрит, как в нём сливаются звёзды с живительным вакуумом тишины. Наэлектризованный воздух мелко дрожит, в Никифоровке ярко светит люминесцентный фонарь с улицы, на которой живёт тракторист Александр. Осенью становится немного видно Никифоровку прямо от их домика, когда листва сильно пооблетит. Из погреба слышатся гул, стук, чих — это тётя Аня поднимает картошку в ведре. Она с холоду носом шмыгает, в дом идёт быстро, на ходу укажет: “Доча, быстро заверни шею шарфом”. — “Ба, а се-

годня что?” — “Сегодня будут лепёшки на маргарине”. Вот вам и ещё одна радость: “Ур-р-р-а-а-а!” Вкуснее этих лепёшек ничего на свете нет. Тётя Аня скапает шар из теста (удивительно быстро и незаметно у неё это получается), щедро обольёт его подсолнечным маслом и сильно помнёт с превосходными щелчками и чавканьем между пальцами. А потом отрывает от шара кусочек (Наташка обожает немножко теста отщипнуть от шара и пожевать — вот вкуснота!), делает из него скалкой круг и кладёт на сковородку, на которой сильно трещит и сердится маргарин. Из тонкого теста, которое всё задрожит и заволнуется в маргарине, получается изумительно пышный золотистый круг, который торжественно встаёт над сковородкой. “Доча, неси чашки”. И вот они идут под абажур чай пить с лепёшками на маргарине. Запа-а-а-х... Тётя Аня щедро нальёт из трёхлитровой банки в простецкий “вазон”, отливающий фиолетовым стеклом, какого-нибудь приторного варенья, недавно, по позднему лету, ею сваренного, и раздаст всем “резетки”. Вот тут подстывшую лепёшку нужно в варенье с краю обмакнуть, откусить тёплый кусок и прихлебнуть чаю... Андрей, как всегда, ест и пьёт абсолютно молча, с одним и тем же выражением скорби на лице, глядя мимо. “Ба, давайте в карты”. — “Нет, я уже не могу этого. Проси дедушку”. — “Андрей, давай в карты!” — “Они надоели”. — “Ну пожа-а-а-луйста!” — “Завтра Митька придёт — тогда поиграем в “дурака” пара на пару”. — “Ура-а-а!” — “Ань, а чего он придёт-то?” — “Как же: завтра именины у него”. — “А-а-а, точно... Значит, с бутылкой придёт”. И действительно — после обычных церемоний завтра в дом заходит дядя Митя, тётя Аня на веранде режет окорок, ставит на стол домашнюю овощную закуску. На печке урчит и хрумкает сковорода с картошкой, взрослые выпивают по полстакана коричневого самогона, который самым его автором дядей Митей назван “лучшим в районе”. Тётя Аня сморщится так, что сделается похожей на старую фею, нарисованную в книге “Сказки Андерсена”, долго машет рукой и, наконец, закусит. Молча поедят, разольют вторую (тётя Аня с дерзостным лицом строго отчеркнёт большим и указательным пальцами, сколько ей наливать), и тут, после тактично прерванных намерений тёти Ани исполнить песню, дядя Митя становится или историком, или философом. Закурит, откинется на спинку стула, ногу на ногу положит интеллигентно и давай тапком качать. “Меня, говорит, этому научил бригадир, когда я на путь работать пришёл. Я уже тогда смолдил, а он увидал и говорит: ты неправильно куришь. Я говорю: а как надо? А надо, говорит, покуривать и ногой покачивать — тогда настроение”. На краснощёкой от перегонных ветров, вытянутой вверх и словно стамеской высеченной дяди Митиной физиономии появится таинственная улыбка — одновременно хитроватого смущения и всезнания. Потом он допереживёт какие-то происходящие в нём процессы в связи с выпитым самогоном и, сосредоточенно выдохнув, спросит: “Вот ты мне скажи... Скажи ты мне на милость, Анна Ивановна... (дядя Митя как выпьет вторую чарку, начинает обращаться не иначе, как по имени-отчеству). Скажи ты мне — есть Бог или нет?” “Я не верю ни во что. Нет ничего”, — резко скажет Андрей, захрипит и тяжело задышит. Он одет по случаю в чистую клетчатую рубаху, от него сильно пахнет мятой и горечью каких-то ещё таблеток. Тётя Аня ему с укоризной: “Как это нет? Обязательно есть! Скажет тоже — нет. Неужели!” “Вот и я говорю: что-то там есть”, — важно определит дядя Митя и многозначительно покажет пальцем на потолок. После этого он, дирижируя сам собой, словно хормейстер, подчёркивая особые повороты мысли плавными витками указательного пальца, развивает концепцию настолько детально и логично, что ему позавидовал бы и крупный средневековый теософ. Тётя Аня с Андреем тем временем отрешённо отлавливают из лохани и подают маринованные подберёзовики, собранные у них тут в Зелёной Рощице, долго жуют окорок, словно жвачку, и слушают туманно, пока, наконец, тётя Аня не скажет невзначай: “Ой, Мить, что-то ты уж очень долго сегодня объясняешь”. “Да пусть расскажет”, — попросит Наташка, которая ничего в словах дяди Мити не понимает, но уж очень ей нравится, как он важно и смешно толкует и трясёт тапком. Она его потом изображает, как он рассказывает, и Аня с Андреем

смеются чуть не до слёз. Между прочим, Наташка в школе в сценической самодеятельности выступала, играла Царевну-лягушку (для костюма пришлось пожертвовать старый зелёный дождевик) и имела успех. “Я ещё до сути не дошёл”, — скажет дядя Митя, но ему уже суют в руки налитую чарку и вилку с нанизанным окороком, и дядя Митя устало замолкает, бесконечно глядя на самогон, словно на разливанное море... Тётя Аня под конец праздника принесёт в плетёнке и поставит на стол садовые яблоки. Как Наташка обожает по осени, в пригожий день, когда всё кругом тонко-прозрачное и золотистое, яблоки с тётей Аней собирать! Какой тогда стоит от них свежий запах! Возле их домика яблонь всего восемь растёт в два ряда по участку, старых уже, невысоких, но до того ветвистых и плодоносящих на местной чёрной земле! Наташка знает их названия: штрифель, шафран, антоновка. Как красиво и здорово, когда полные корзины ими нагружают — кажется, на весь год наедятся. И капуста тут вырастает большущая, прочная, голубыми горами лежит, и кабачки-поросята, и крупная картошка, облепленная землёй, — Наташка любит смотреть, как она из грядки с треском выскакивает на лопате и являет крепкие улыбочивые клубни, а потом, обстучав об землю, кидать их в ведро. Она и особенный звук любит, когда картошка по дну пустого ведра стучает. Понизу по огороду тянет свежим и уже немного стужённым ветром, на отрешившемся небе низко и быстро бегут облака, Наташка в свитерочке, вздутой ветром курточке и резиновых сапожках, руки у неё красные и озябшие, по-взрослому трудовые, все в налипшей густой земле. “Вот ведь слава тебе, Господи”, — истоиво шепчет тётя Аня и возит тележкой урожаем с огорода в погреб. Открывшейся землёй пустых грядок пахнет горьковато, и ещё тоскливым духом усыхающей ботвы. Вскоре дожди пойдут, станет туманно, непролазно. Никифоровская дорога вся изойдёт ранами и слезами. Наташке тогда даже в сапожках едва дойти через поле до автобуса, а пару раз, когда сильно лило, её тетя Аня вообще в школу не выпустила, и Наташка с радостью пропустила контрольную по математике. Но зато когда с холодами пробегут по схватившемуся панцирю земли первые языки-пороши и наступит зима, Наташка тоже обожает, потому что тогда можно с Бобкой носиться по свежему снегу, а в школе играть в снежки и мальчишек в сугробы толкать, а некоторых этим снегом ещё и умыть, и бегать на лыжах с Расулом Касимовичем по холмистым полям, раскинувшимся сколь глазу видно сразу за школой. Так радостно и легко катиться вниз с резким шипением по утреннему огненному насту! Иногда целые сутки подряд за окнами с тяжёлыми вздохами и тонкими присвистами метёт метель, и по линии тогда поутру, когда полностью под белым скрыты рельсы, прогоняют снегоочиститель, и Наташка бывает в восторге от того, как он громит сугробы и красочно взвивает вокруг себя густую серебряную пыль. В мороз Наташке, собирая в школу, шею затынут так, что вот-вот задухает. Одно время, когда пообезлодело кругом, пошёл слух, будто в полях объявились волки, и Наташку опять перестали одну в школу пускать, но потом что-то про волков затихло. У них охотники ходят тут на зайца, иногда стучат к ним в сторожку, просят воды набрать или погреться в осенние ветра.

Прошла зима, протаяла и прокапала сверкающей капелью ранняя весна под торжествующе ясными открывшимися небесами с нежными перьями, ан глядь — заколосилось лето! Что всё-таки может быть лучше лета? О, лето — это наивысшее счастье. Кончается четвёртая четверть, Наташка едет из школы в автобусе до своего поля в одном платье без курточки — в окошко дует ветер тёплый и густой, налитанный нагретым травяным простором. Смотрит Наташка в окно, а там радость — начало лета! Всюду уже лежат свежие опрятные огороды, на них аккуратно начерчены ярко-коричневым выпуклые земляные грядки, ещё не покрывшиеся травой. Восклубятся на небе облака изобильные, от которых всему существу польза — и земле влага, и взгляду красота, и пешеходу тень, и вдруг щедро хльнет из них тугой ливень с громами, ляжет поперёк неба и земного горизонта косым полотнищем, а вслед ему непременно радуга расположится полудугой в последождевом туманном пару — яркая-яркая, и ведь бывает — не одна! Вот чудо. А после выглянут солнечные лучи, встанут золотыми столбами, и счастливо засияет под ними

слепяще яркая, раскалённо-огненная на солнце зелень с нежно-жёлтыми колечками цветущих одуванчиков и купальницы, с разноцветными блестками колокольчиков и купав. Загустеет трава, в которой все травинки по отдельности различимы, стоят любопытствующим юным строем, стебелёк к стебельку. В середине лета она вместе с листвой деревьев потемнеет, помудреет, а пока-то ещё вся в счастливом лоске. И какие цветения, какими несказанными букетами! Зайди в лес и посмотри: кажется — вот просто свисание еловой ладони. А ты приглядишься, и увидишь — каждая игольчатая горсть по краю ещё подчёркнута ясно-зелёной кисточкой, напоминающей подкрашенные ресницы. Из неё вскоре шишка народится! И у всех цветений вокруг имеются такие нарядные кисточки, юбочки и колпачки. Наташка в первые дни июня однажды увидела во дворе возле их нужника какие-то поднявшиеся над травой острые настороженные цветки с высокомерными ровно-белыми вздутыми лепестками, как фонарики у рукава. Наташка уже руку протянула потрогать, да отпрянула — ведь это же крапива! Вот она как цветёт! Сразу видно — хищница. Скоро жечься начнёт! А в поле и в роще по округе всюду пролегли яркие тропинки, расположились отчётливые прямоугольники разноцветных полей и садов, напоминающие аккуратно лежащие на земле пластинки акварельных красок. Яблоня, начав цвести, густо убрана словно роскошными белыми и малиновыми бусами, смотря по сорту — не наглядеться ею, не отвести от неё взора и, смотря на неё, ненадолго забыть о том, что в мире существуют некрасота и зло. Легчайший ветер несёт дух сирени, и так пахнет свежей травой и простором! А какое чудо, когда на исходе дня всё это ласково и незаметно усыпает ввечеру — настанут удивительно светлые, просторные и ясные, покойные, невесомые, какие-то счастливо бескрайние вечера, воплощающие в себе словно и земной, и небесный рай...

У них тут луг вдоль линии и Зелёной Рощицы — такие на нём цветут цветы, такие растут клевера и ромашки! Наташку Аня научила плести из них венки и двойные, и тройные. Наташка бегает в этих венках и воображает себя в такие моменты живущей в древних временах. Ещё не заканчивается школа, а луг уже в одно прекрасное утро весь смеётся одуванчиками, как живой! Всё вокруг покрыто приторно-зелёной, избыточно яркой монотонной листвой. Кажется после бархатной пустоты и прозрачности апреля, когда всё представляется ветхим и невесомым, что после мая больше уже ничего расцвести не сможет, куда же больше? — какое там! Июнь приносит такую густоту трав, такие первоцветы — словно рассыпанный по траве набор акварельных красок. Есть цветы ярко-ярко-синие и голубые, как, например, свечки-люпины, а есть и такие, у которых один лепесток рыжий, а другой сиреневый, как на костюме у Незнайки. Тут и начинается самое плетение венков. А бабочек сколько, и каких! Вы такими только на картинках любовались, а они каждый день тут с Бобкой встречаются по десять разных видов: над всем лугом разноцветное стоит кипение! А трава сочно-зелёная, и каждая травинка стоит и различается отдельно! А позже в лете трава станет такой высоченной, тугой и густой, что только и пройти через неё, как по тропке вдоль линии, вдоль самого балласта, спотыкаясь на крупных камушках. Растительность кучно стоит выше Наташки, а поверх всего плавно качается и, как солдат, отдаёт честь её главный товарищ, самый любимый её цветок — красавец иван-чай. Как здорово, что у него именно такое название! Когда тётя Аня первый раз рассказала, как называется этот цветок, Наташка так и воскликнула: “Здорово!” Ей как рисовальщице очень нравится, что он как такой острый тёмно-малиновый огонёк на фоне сияюще-зелёного полотна травы и белизны берёзок рощи. А небо-то наверху над всем этим какое проникновенно синее и большое — как море!

В один прекрасный день Наташка, проснувшись и поёжившись поутру от холодка из раскрытого окна, обтянутого на кнопках куском старого кружева от насекомых, видит, что на лавке лежат туюски: ура, пойдём с бабушкой за земляничкой! Созрела ягодка! Далеко идти не нужно: в сторону речки на спуске солнечные склоны выемки все от ягоды красны. Наташка никак себя убедить не может класть больше ягод в туюсок, чем в рот, вся она тоже красная и измазанная свежим земляничным сиропом и от того хохочет,

но всё-таки туесок свой всегда в результате наберёт. Пока идут к дому с полными туесками (настоящими берестяными, деревенскими, из Никифоровки, там одна старушка до сих пор их плетёт), с высовывающимися альми горками ягод, Наташка Аню за локоть подёргает: “Бабуль, бабуля! Расскажи про траву”. И Аня начинает ей рассказывать, как какой цветок вокруг называется, но Наташка ничего запомнить не может, кроме иван-чая, шафрана, мать-и-матехи и куриной слепоты. Аня кое-какую целебную траву собирает и сушит на разложенных газетах “Гудок” по всей веранде и делает настои, когда они с Наташкой в баню идут, или когда Наташка простудится. Аня их серьёзно готовит, вдохновенно, как алхимик, разве что без заклинаний, вся в пару и дурманных ароматах, сливая через большой дуршлаг пенные кипятки в посудину. Какие-то сама пьёт, какие-то Наташке даёт, как бы та ни кривлялась и не отталкивалась, иногда немного вливает в Наташкину ванночку, когда Наташка лезет купаться. Ванночку эту они купили на “перспективу” с Андреем, когда детей ждали, да поторопились, а теперь вот она пригодилась. Такая, конечно, маловата пятикласснице, но Наташка в ней плескаться обожает, особенно осенью и зимой, когда на дворе холод и снег, а в бане тепло, даже душно и сухо от жара, и можно сколько хочешь нежиться в этой ванночке. Наташке нравится долго-долго залезать в горячую воду, сперва погрузить одну ногу, потом другую, наконец, с визгом медленно опуститься целиком, а затем высовывать наружу то распаренные коленки, то плечи, и близко их рассматривать, а как застынут — топить. Наташка так может целый час плескаться, тем более что вместе с нею плещется и ныряет её любимый целлюлоидный лебедь — игрушка старинная, 50-х годов, как живая, теперь такие одушевлённые игрушки для детей не делают. Ещё Наташка любит воздуха вдохнуть и погрузиться на дно, и оказаться в ином мире, от всего отрешённом, и даже удивительно, как мир такой загадочный может создаваться в их простецком домике — пузыри там под водой пускать и по дну ванны ползать на животе и воображать себе, что плывёт по дну глубокого моря, и очень жалеть, что вокруг нет ярких райских рыбок, которыми она всегда любит наслаждаться на цветном календаре в классе географии или если по телевизору показывают передачу про путешественников.

Летом рано утром резкой сладостью пахнет рассвет. Всё мягко обнимает спящий туман, звенит пронзительная свежесть, роса. Когда пройдёт гроза и густо прошумит дождём, со шпал в первых золотых просветах солнца поднимается пар, дрожит над ними душное марево. И такой дивный разливаётся запах, такой парной аромат! После каждой грозы цветов, кажется, становится ещё больше, и цветут они ещё ярче и гластее, и трава живоительно светлеет и как будто дышит, почти словами говорит. Наташка надевает свои сапожки, и мчатся они с Бобкой с брызгами по тёплым лужам вдоль рельсов мимо стены молодой травы, а над ними мягко летят счастливые лебеди-облака!

Ещё у них в Зелёной Рощице есть место, где растут маленькие ёлки, зимой они одну рубят для себя, чтобы нарядить на Новый год. А рядом, в папоротниках, где течёт ручеёк от их родника, водятся ужи, но они такие нарядные и блестящие, что Наташка совсем их не боится, и когда увидит ужа, всегда позовёт его: “Ужик мой! Иди ко мне, мой ужик!” А Бобка всегда ужа пугается и отскакивает прочь. Там в этом папоротниковом месте такие приветливые берёзки шевелят листвой, такие добрые и нарядные, как девушки на картинке в книжке “Сказки Пушкина”. В сезон подберёзовиков под ними — море! Стоят серенькие дружными компаниями! Андрею раз немного полегчало, и он выбрался с Наташкой в Зелёную Рощицу за подберёзовиками и там показал ей, как нужно правильно собирать берёзовый сок, чтобы потом ранку заклеить и дерево не погубить. Наташка очень сок этот любит, и больше всего любит “лечить берёзу” после того, как в бутылочку из-под газировки натечёт прозрачного соку.

Наташке самой удивительно, что в их домике ей совершенно не бывает скучно, даже когда тётя Аня уйдёт на путь, а Андрей спит, и она одна. Наташка и подруг особо в школе не имеет, так, со всеми девочками дружит понемножку, но в манере независимой и без особенных тайн. От школы они



никуда не выезжают — откуда деньги-то на это? Правда, один раз учитель физкультуры Расул Касымович организовал автобусную поездку на Чёрное море, но на неё надо было дать девять с половиной тысяч, да ещё и с собой полторы — а откуда у Ани с Андреем такие деньги? Наташка не поехала и не жалела об этом, потому что даже на море наверняка скучала бы по своей сторожке. Иногда возле их домика раздаётся приближающееся кряхтенье трактора, через некоторое время в дверь стучит тракторист Александр и громко спрашивает: “Наташка дома?” Это он заехал сообщить, что на выходные или на каникулы приехали Оля с Юлей, и чтобы Наташка, если хочет, ехала к ним в гости. Наташка собирается, но без большой охоты, потому что не любит Александра и особенно его жену Анастасию — полную, одутловатую, всегда ко всему равнодушную и какую-то кислую. Наташка не может понять — как это можно совершать такой дурной поступок, как отправлять детей в интернат. Тётя Аня объясняла ей: “Доча, ведь им из Никифоровки до автобуса ходить очень далеко. Считай, больше, чем тебе, на целых три километра”. “Ну и что? — возразила Наташка. — Он что их — на тракторе возить не может?” — “Сколько же это он пожжет солярки? Откуда денег взять?” — “Да, бабуль?! А всякие телевизоры и диваны Анастасии покупать — есть деньги?” Действительно, Анастасия больше знает ничего не хочет, кроме как ездить с Александром раз в месяц за какой-нибудь покупкой. Всё, что выручают они от своей почти что круглосуточной работы по хозяйству (которой занимается, между прочим, преимущественно Александр, потому что на нём ещё и трактор), тратится на новые вещи. У них есть и мебель, и хрустальная посуда, и ковры, и телевизор, и проигрыватель дисков, и компьютер, и телеантенна с большим белым кругом на улице, которая, как какой-то инопланетный пришелец, выглядывает в деревне, и даже ванная с обогревом, выложенная плиткой, — всё есть. С Юлей и Олей Наташке тоже скучно — они такие же кислые и малоподвижные, как их мать, ходят по дому, как две одинаково гладкие тоскующие жирафы или гусыни, и хоть и старше они Наташки на два класса, поговорить с ними не о чем, кроме постоянных и часто довольно нехороших сплетен из жизни интерната. Иногда Оля с Юлей с холодным взрослым цинизмом, с порочным спокойствием толкуют Наташке такое, что ей даже тете Ане рассказать стыдно. Поневоле вспоминается Наташке, когда она видит сестёр, разговор её однажды с тётей Аней: “Вот, доча, какая ты сейчас чудесная и милая, а ещё года полтора пройдёт, и станешь ты дерзкая, злая и скучная”. — “Не стану”. — “Станешь. Взросление”. Наташка всё-таки встречается с ними ради разнообразия в течение жизни. Ей на тракторе нравится ехать, нравится его тёплый запах солярочной гари и надёжность хода. Александр иногда даёт покрутить руль, но у неё долго рулить не получается, силёнок не хватает. Осенью или в весеннюю распутицу трактор вязко тянет в жидких колеях, стекло его кабины покрыто чёрными брызгами из-под колёс и крупными дождинами. Долго едут вдоль покинутых домов, мимо развалин церкви, пока, наконец, не подъедут к дому Александра, стоящему в середине улицы под двумя стародавними высоченными вязами, издали отличимому от всех остальных домов по яркому синему окрасу стен и нагромождению вокруг дома сараев и пристроек. Здесь все живые колеи заканчиваются, улица глухнет. Всё прочее присутствующее жильё густо осыпано коричневой листвой, схвачено высоким кустарником, затянута лопухами и бузиной. Дальше, немного в горку — только несколько понурых выглядывающих крыш над зарослями по обеим сторонам улицы, и на исходе её валкой линии каменеет угрюмый дуб, на котором болтается канат для качелей. А за дубом в вечно дремлющей мгле издали глядится океан холмов и непаханных полей с чёткими бровками рощ, поднимающихся над речкой и неспешно плывущих вместе с небом в самую даль горизонта. Наташка заходит в дом, вначале немного поболтает с сёстрами, посмотрит мультфильмы по “видику” или какое-нибудь кино. Иногда Оля с Юлей дают ей поиграть в компьютер, за которым Наташка просидит до самого вечера, гоня по цветным клеткам какого-нибудь жизнерадостного виртуального дурика, пока не войдет Анастасия в очередном новом халате, с бигудями на голове, и сонным голосом не скажет: “Дети, идите чай

пить”. Без толку и расстановки, на одном тоне и с мягким южным выговором буквы “г”, тётя Аня как могла, но всё-таки читала Наташке сказки Пушкина по жутко залистанной и измятой, ещё дедовой книжке, когда у них Наташка только начала жить. А Оля с Юлей, кажется, вообще никогда ни о чём не слышали от родителей, кроме сведений о разной бытовой пользе, и потому больше не интересуются ничем, кроме вещей и сплетен о чьей-то личной жизни. Наташка один раз попыталась рассказать им про цветы и про то, как плести из них венки двойные или тройные, но сёстры жестоко высмеяли её. Когда Наташка поведала им, что у них в домике не только нет компьютера, но даже цветной телевизор советский — “Рекорд”, Оля с Юлей поулыбались внаглую. А вот историю про мать и отца и вообще про то, как оказалась в домике, которую рассказала им Наташка, они восприняли безо всякого сочувствия, безо всяких лишних вздохов — со взрослым спокойствием: их в интернате подобными историями не удивишь. Они сами такое поведать могут, что волк в лесу зарывает. Оля только сказала: “Вот не получается у людей, как по досточке: жизнь-жизнь-жизнь. У всех всё только косо”. А Юля на это зевнула, махнула рукой и проговорила: “Со взрослыми правило простое: напьются пьяные — если до рук не дошло — ну ладно, а уж если пошли руки — тогда 02”. Этим мудрым житейским нравоучением разговор и окончился. Александр и Анастасия, когда не уходят во двор, как они говорят, “управляться” по хозяйству, в доме всегда располагаются порознь. Анастасия лежит в халате на софе с горестным лицом по случаю своей усталости, немного похожая на сытую хавронью, а Александр на кухне разгадывает кроссворды или сканворды, или читает какой-нибудь очередной журнал или детектив, сильно дымя сигаретой. Они с женой почти не общаются, хотя и спор между ними Наташка тоже никогда не слышала. Разве что скажет Анастасия: “Ну что, пора управляться”, — прежде чем, глубоко вздохнув, идти надевать телогрейку, сапоги и подвязывать голову косынкой, и Александр с кухни официально ответит ей кирпичным голосом: “Я помню”. И начинают греметь в сенях какими-то вёдрами и лопатами, прежде чем выбраться на двор, с которого в комнату сразу ворвётся громкое кудактанье домашней птицы и запах хлева с привкусом каких-то сывороток. Когда вечером привезёт Александр Наташку домой, тётя Аня спросит: “Ну как, поиграла с девочками?”, Наташка в ответ рукой только махнёт по-взрослому и скажет: “Да уж, с ними поиграешь...” Анастасия не хочет уезжать из Никифоровки, чтобы Александр на новом месте не спознался с мужиками и не начал пить, потому что если он выпьет хотя бы одну рюмку, то это потом безумие на недели, и Анастасия на обширном хозяйстве останется один на один со всеми поросятами и индоутками. Александр высокий, большой, статный, совсем без седины, с каштановыми глазами и волосами, с сильными мастеровитыми руками, и при этом необыкновенно важный в своей кожаной куртке, аккуратный и неспешный. Тому, кто ничего не знает о нём, очень трудно представить себе, что этот пространный человек может пить и напиваться до полной бессознательности, до спанья в навозе на дворе, до белой горячки со змеями и крокодилами...

Наташке нравится не только запах трактора, но и вообще всего горячего — тепловоза, костра, печки, свечи. У них на дворе возле нужника есть старый дощатый сарай со ржавой ручкой и колочей занозистой дверью, в нём стоят керосиновые и свечные фонари и прочий устаревший сигнальный инвентарь. Наташка любит иногда этот сарай открыть и потихоньку втянуть носом прогорклый трогательный запах старой жести и сажки. Она уже три Новых года здесь в домике встретила (а ей кажется, что всю жизнь жила), и каждый раз доставали такой фонарь со сменными цветными линзами, зажигали его и ставили возле наряженной ёлки, срубленной в заветном месте, куда специально ходили с Андреем по тёмному снегу. Наташке нравилось, как в фонаре мурлыкала горящая керосинка и сквозь дырочки дефлектора фигурно струились и поднимались едко пахнущие змейки дыма. Фонарь зажечь ей разрешили, но только после того, как она вслух расскажет стишок “К елке новогодней”, разученный загодя к празднику с тётей Аней. Такие фонари раньше брали с собой обходчики и сторожа на обход пути и подава-

ли ими из ночи поездам сигналы, а при надобности вешали фонарь на шест, для чего у фонаря имеется специальное кольцо. Наташке очень нравится в полной темноте вертеть особым колесиком разноцветные линзы в фонаре и смотреть, как меняется цвет его слабого луча — красный, жёлтый, зелёный, прозрачно-белый, и наблюдать, как бегают по стене, по коврам таинственные квадратные блики.

А разве не интересно Наташке смотреть на дорогу, на поезда? У них прямо за окнами рельсы близко-близко сверкают. И не здорово ли, когда едет из Тулы дядя Сергей Желтков, остановит дизель возле их сторожки, и они с симпатичным смешливым помощником Андрюшкой, склябясь во весь рот, выйдут в тамбур, присядут на корточки, и дядя Сергей протянет ей настоящий тульский пряник? Такой свежий, что даже тёплый иногда бывает. Наташка непременно сразу откусит от него кусочек — нежный, сладостный! И всегда этот пряник лежит в подарочной коробке с изображением пузатой довольной бабы в чепчике и сарафане, чем-то похожей на Анастасию, но весёлой, радостно расположившейся у большущего самовара. А обратно дядя Сергей едет вечером без остановки, издали часто-часто гудит, и они с тётей Аней выбегают на крыльцо, чтобы обязательно ему и Андрюшке как следует помахать, а те им вовсю машут в служебные окошки из любопытствующей лобастой физиономии дизеля. Но дизель — что дизель: он хотя и красивый, но тусклый и закопчённый, какой-то понурый весь от своей обыденной жизни. Наташка его немного жалеет. И народ на нём едет всё более простой, бесхитростный. Однажды Наташка ехала с тётей Аней из города с новыми учебниками и коробочками лекарства для Андрея и, залезая в сумрачный урчащий дизель, увидела, как большущая дебелая тетка в деревенском платке с хохочущими золотыми зубами горласто крикнула с платформы озорному мужику, который высовывался в окно по плечи, как школьник, и весь истекал ответной симпатией, будто тающий десерт: “Ваня едет в Богородицк продавать гармошку!” — и Наташке от этого возгласа показалось, что она присутствует в каком-то прошлом веке. Дизель всего-то идёт несколько часов от места до места. А вот летом у них тут в обход перегруженных главных направлений пускают настоящий пассажирский поезд, дальний, из зелёных вагонов, номер 526-й дополнительный — вот это здорово. Он два раза в неделю днём от рощи проходит, и Наташка его каждый раз провожает. Она знает — мимо их домика он пойдёт сразу после двух часов дня. Ближе к этому времени она, если в комнате, начинает тише играть с Бобкой и всё прислушивается. Наконец в шелестящем шуме рощи различается какой-то особенный сторонний шорох. Идёт! Наташка выбегает наружу почти к самым рельсам. В глубине стены мерцающих листвою и качающихся на ветру высоких осин и берёз наливается растущий гул и особенный визг, напоминающий звук самолётных турбин. Он больше и больше близится, и вдруг в полотнах рощи неожиданно быстро и устремлённо появляется поезд, сизо дымящий тепловозным выхлопом над вагонами. Только этот дальний появлялся так (первый раз слово “дальний” Наташка услышала от тёти Ани и взволновалась): всякие путевые мотовозы и дрезины, на которых иногда подвозили им уголь, почту и новости, ехали с утлым настороженным шумом, скрипя и качаясь, словно старинные брички; товарные поезда и “полувагонники” долго, как канонада, гремели и колотили колесами в глубинах перегона, а появлялись на свет медленно и напряжённо, охватывая тяжким гомоном все вокруг. Дизель пробегал легонько и как-то незаметно, с покорным ворчаньем. А вот дальний, как казалось Наташке, словно народный артист выходил на сцену. Это было настоящее представление. Дальний не ехал, а именно невесомо плыл по рельсам, одновременно слитно совпадая с ними как бы в единое целое. Впереди мощно гремел дизелем и уверенно катился, склябясь щелями наметельника, с радостным прищуром узких прямоугольных фар тепловоз одной секцией. Наташка поднимала на него глаза и видела в оцарапанных, заляпанных убитой мошкарёй наклонных окнах такого же склябящегося крупными зубами, как у жеребца, крепкого загорелого машиниста в распахнутой рубашке, дымящего в окно сигаретой без фильтра и глядящего поверх всего сущего. А к нему клонится, положив подбородок

на кулаки и остро выставив локти, и что-то весело рассказывает парень-помощник в оранжевом жилете, как у тёти Ани, надетом поверх летней майки. Наташка махала им, и в ответ непременно получала неожиданно нежный, одушевлённый свисток. Наташка жмурилась от набегавшего порыва ветра, вскружённой пыли и ароматного машинного тепла и успевала прочесть на высоте проносившейся угрюмой стены тепловозного кузова надпись: “ТЧ Узловая”. За тепловозом дружно вышагивали пассажирские вагоны, точно и звонко отстукивая шаг, в их мутных окнах виднелись силуэты людей, любопытствующие детские лица, всякая дорожная посуда на столиках, свисающие простыни. И со взволнованной радостью участия в творящемся событии движения читала Наташка мелькавшие вагонные трафареты, поражаясь величине расстояния, которое и вообразить себе трудно: “Калининград—Челябинск”! Наташка в школе нашла с помощью учительницы географии и тот, и другой город и, уперев руки в боки, воскликнула: “Вот это да-а-а!”, увидев, как далеко эти города находятся, и получила замечание, потому что учительница решила, что Наташка паясничает. А вот обратно дальний шёл глубокой ночью (другие поезда по ночам последнее время почти не ходили). Тётя Аня всегда вставала и провожала его с фонарём, опасаясь, что поедет кто-нибудь из начальства, допустим, тот же Кирьянов, и увидит, что поезд здесь не провозжали — хотя тётя Аня и не обязана была это делать. Сквозь сон Наташка слышала, как ревел будильник и тётя Аня с громким в ночи скрипом слезала с постели и шептала с сердцем: “Идёт, чёрт... Пятьсот весёлый... Хоть бы совсем его отменили, паразита...” Заслышав снизу, от моста, гул и гудок, она выходила наружу, накинув что-нибудь на себя, и нервно гремела петлёй и замком на крыльце. Из служебной трубки, лежавшей у аппарата в сенцах и становившейся слышной в вакуумной тишине ночи, тоненько доносилось скрипучее воркованье: “526-й... 526-й... 526-й...”. Слово где-то в ночном пространстве шептались какие-то волхвовавшие существа. Поезд с резким близким свистком, суровыми бликами и стуками, пролетев, быстро уносил с собой шум и бегущие тени в ночь, тётя Аня возвращалась в дом, громко запирала дверь и затем сердито и вразумительно говорила в трубку неизвестно кому тёмным голосом: “526-й Никифоровку проследовал без замечаний, с сигналами”. И, не дожидаясь никакого ответа, продолжая в голос ругать “пятьсот весёлого” и всю эту железнодорожную жизнь, быстро шла в полной темноте спать, предварительно звучно пошив из банки ею же давеча сваренного компоту. В начале сентября, с потуханием трав, 526-го отменяли, и Наташка по этому поводу грустила: одним летним событием становилось меньше, и вообще в школу опять пора.

А когда начинается школа, и погода часто плохой становится. Заморозит. Дни приходят тёмные, предснежные, со ржавой спутавшейся травой, обмякшей мокрой листвой и назойливой моросью, сыплящейся из коричневых неба. Дым от печки в такие дни особенно резко пахнет. Тогда Наташка одно остаётся — будет она дома с Бобкой играть, уроки делать, куклу укладывать целый час или рисовать. Счастье, что Наташка рисовать любит. Только карандаши она все время по неряшливости раскидывает, и тётя Аня их куда-нибудь в одно место собирает. А когда Наташка рисовать хочет — сию секунду чтобы были карандаши под руками. Вот и сейчас она выбежала на улицу и закричала:

— Бабуля! Бабу-у-уль! Где карандаши? Бабуля!

\* \* \*

Тётя Аня, сняв на веранде только платок и боты, тихо прошла к Наташке в комнату. Андрей свернул полученные бумаги в трубочку, сунул их за переплетённый шнур электропроводки над дверным косяком и тоже прошёл к себе, сразу улегся, завозился и закашлялся в своей каморке. Наташка звала: “Бабуль, ну куда ты их убрала?” Аня, не снимая жилета, в мокрой тяжёлой одежде присела на Наташкину кровать, и от того, что она вот так прошла в комнату одетой в служебное и присела на краешек постели, словно в чужом

доме, стало немного тревожно. Наташка подбежала к ней, схватила за руку и несколько раз провела по мягкой и доброй, как у Бобки, очень яркой под близкой лампочкой тётки Аниной седине. И сразу же опять затеребила её: “Ну бабуль! Ну где?!” Тётя Аня посмотрела на неё с такой глубокой лаской, какую Наташка видела на свете в своей жизни только раз на иконе с изображением Божьей матери с младенцем, когда однажды они с тётёй Аней на Пасху ездили в город, чтобы купить Наташке кое-что из одежды и для школы, и заходили там в большую голубую церковь, над которой, казалось, в самом небе счастливо журчали какие-то бесконечно радостные неумолчные колокола, а внутри было очень тесно от людей, душно и даже жарко, и очень светло от множества с треском пылавших свечей. Оттуда они привезли пахнущие потухшей свечкой два кулича и разрисованные яйца, такие красивые, что Наташке потом их жалко было чистить и есть. Наташка вспомнила сейчас в глазах тётки Ани тот взгляд Божьей матери, и такой это был взгляд переживательный, что Наташка опять потянулась к тётке Ане, а та обняла её и прижала к себе, положила ладонь свою — и мягкую, и крепкую — Наташке на голову, стала гладить её и нежно, с каким-то особенным чувством приговаривала протяжно:

— Милая моя доча... Иди ко мне, ребёнок... Иди ко мне... Моя доча...

Наташка чувствовала, что тётке Ане из-за чего-то очень грустно, и ей, конечно, хотелось утешить её, но в то же время и очень хотелось найти карандаши. Поэтому она ещё раз коснулась ладошкой тётки Аниной седины и начала мягко вырываться: “Бабуль! Ну пусти... Бабуля, пусти. Я к Бобке пойду! Пусти! Бабуля!”

\* \* \*

...Останется от линии в лесах и на дугах зарастающий след, но вечным призраком являться будет, как бегут по навсегда уснувшей насыпи паровозы, и серебряные гривы дыма виснут над ними, и незримые сигнальные линзы светят им в бесмертно ясной ночи...

\* \* \*

— Однако же, Тимофей Ильич, нам двигаться пора. Господа старшие инженеры уже наверняка расположились к ночлегу во-о-о-н там — видишь, на той горке стоит село Никифоровка, — не худо бы и нам податься передохнуть от праведных скитаний. Пойдём прямо по этой ложбинке, что спускается в овражек — кстати, трасса замечательно впишется в неё, ты не находишь? — а там свернем накоротко в поле и, извольте-ка верить, поспеем к ужину со всей честной компанией.

— Положим, трасса тут уляжется действительно славно, разве что небольшую выемочку труженикам всё-таки придётся прокопать... Двигаться к ужину — мысль весьма знатная. Вот только на дворе уж больно погоже, и никуда неохота идти — лежать бы вот так и лежать, да по сторонам обозревать...

— Да, мир-то Божий... Божий мир. Какое чудо! Господи...

Торжествующий цвет заката оранжево расцветил на западе небо, облачил травы и приветливо помахивающую, словно ладошками, листву в сияющий глянец. К вечеру гуще, горячее запахло травами, долетающим из каких-то садов немислимым ароматом расцветшей сирени, проступающим холодком земли от близкого родника, просторным и счастливым ветром. Над отдалённой дубравой сотворился и поплыл, словно блаженные волны, лёгкий мелодичный звон, который удивительно гармонично совпал со всем окружающим миром. Петров посмотрел в ту сторону, откуда, как невидимый полог над землёй, на одном высоком проникновенном тоне тянулся звон, прищурился и увидел над отдалёнными кудрями лип невысокую кирпичную верхушку колокольни. Ветер немного подул со стороны звона (а это звонили к вечерней

службе в Никифоровке), и чуть различился запах парного молока и водопоая, расслышался отдалённый коровий рёв. Сильнее пошевелились цветы над травами и глазами своими сквозь юные ресницы лепестков словно о чём-то искренне сказали.

— Среди долины ровныя, — своим манером, внутрь себя усмехнулся Петров, так же, как и Беловольский, утопая добрыми глазами в окружавшем бытии. Беловольский же, приложив ладонь к груди, весь летел, как вдохновенный ангел, вместе с этим вечером и звоном, тонул глазами в небе, в облаках, дыша набегавшим ветром, простором, живописным размахом пейзажа с говорящими далями, несказанным ярко-коричневым лоском пашен, молодой изумрудной густотою рощ, от которых в закате пролегли блаженные тени, и взлохмаченная бородёнка его, казалось, улыбалась и радовалась вместе с ним.

— Какое счастье! — воскликнул Беловольский. — Какое счастье. Господи... Так хочется думать... верить в этакий час, что впереди всё будет таким же чистым, светлым и безмятежным, как этот вечер. Всё, всё для этого дано... Удивительное счастье — присутствовать в нём, осязать... Господи, спасибо тебе...

Петров, не оборачиваясь на него, неотрывно глядел в ту сторону, откуда наплывал протяжно звон, перешедший в равномерные удары неторопливого благовеста, поднявшего над машущими вершинами берёз плавные стаи ласточек.

— Аминь, — сказал Петров, не спеша поднимаясь с травы, отряхнул сюртук и потянулся за фуражкой. — Что ж — пойдём? — не то спросил, не то утвердительно сказал он.

— Пожалуй, — встрепенулся Беловольский и тоже первым делом легко накиннул фуражку. — Кажется, я штаны немного заселил, ну да это ничего. В детстве мне, помнится, крепко доставалось за такое от мамы... Ты у себя на листе набросаешь предположительное направление?

Петров кивнул. Они ещё раз отряхнулись, пару раз перетопнули сапогами, крепче нахлобучили фуражки, поправили на боку планшеты, убедившись, что они застёгнуты, и зашагали под горку направлением будущей дороги огромному сияющему сплошь зелёному простору и раскалённому кругу солнца навстречу.

— Пожалуй, притомимся шагать, — сказал Петров.

— А мы, чтобы уменьшить усталость, запоём песенку. Вот хотя бы эту — любимую нашу — а?

*По рюмочке, по маленькой  
Тир-лим-бом-бом, тир-лим-бом-бом!  
По маленькой, по маленькой,  
Чем поют лошадей.*

И дружно запели они свою любимую студенческую песню, красиво, на два голоса, в дружном ладу, как в старину пели, и зашагали под гору, немного маршируя и с шуткой капельмейстерски помогая себе руками. Молодая энергичность и некоторая горделивость была в их осанке и походке. Ещё бы! По их, Беловольского и Петрова, вешкам проложат дорогу до самых западных морей. И вечно будет народу и отечеству служить трудовая матушка-чугунка, по утрам пробуждать свистками на болотинах спящих коростелей и в деревнях первых петухов, и будут люди ставить по ней ходики, словно по какому-то астрономическому мерилу, и такими же привычными сделаются стук и свист её, как в поле рожок пастуший или коровье мычанье в селах. Затеют по их вешкам дорогу строить — и, стало быть, построят! — миллионами кубов вычерпают, где нужно, землю, кирками прогрызут камень, прокопают выемки и поднимут насыпи, которые вскоре так совпадут, сростутся со всем окружающим строением земли, словно существовали на ней от самого сотворения мира. Уложат рельсы и наведут мосты, и вокзалы возведут, и воду из земли поднимут, и вдоль долгих полей натянут телеграфную струну. И от сохи пришедшие люди научатся строгому, точному ремеслу: вчерашнее

крестьянство геройски овладеет технической цифирью и чертёжной премудростью, оденется в служебные кафтаны, водрузит на головы фуражки, нацепит форменные бляхи и затынет пояса пряжкой с державным вензелем. И сыновья пастухов и пахарей важно станут за регуляторы паровозов, и запачкаются суровые лица трудовой сажей и олеонафтом — и двинутся от их рук поезда. Протиликает колокол; счастливо и горестно, как сердобольная баба, взревёт вокзальная гармонь! Сердечно и просто воспоёт о встречах-расставаньях, заполошенно выиграет об очередных затеявшихся перемещениях судеб, о непостижности калейдоскопа жизни... Первый поезд, клопоча от мощи локомотива и готовности к ожидающей стихии, закричит, заголосит, заверещит свистком, словно одержимый скворец, пронзит уши, жарко задышит и двинется новой дорогой по России, так же одержимо и пугающе вереща вдоль рощ и косогоров, призывая пуститься с собой в распахнутые объятия горизонта, в неведомое, в вечные пути! А сверху с высокой Соборной Горы грянет, отзовётся ему Тысячезвонный Спас, и всё поглотит в себе — и худое, и хорошее, и бренное, и представляющее вечным, и зримое, и призрачное, и бездонно гудящим гласом могуче обнимет всякое бытие. И закат сольётся с рассветом в единую бесконечность, куда рельсы, вивясь, уходят — в стихийную дикую даль без края, под высокие перелёты птиц, в напряжённую песню полей и ветер, в ночное лунное сиянье и переходящий мрак ненастий, во всполохи пробуждений, в бескрайнее волнение моря жизни и Земли...

*Гавана, Москва, 2008*